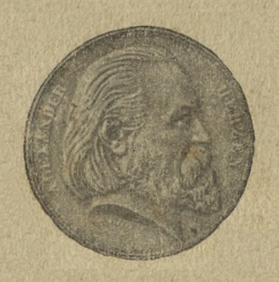
Иванов-Разумник.

А. И. ГЕРЦЕН.

1870—1920.



ПЕТРОГРАД.
изд-ское т-во
„КОЛОС“.
1920.


FREE RUSSIAN PRESS IN LONDON
1863

Иванов-Разумник.

А. И. ГЕРЦЕН.

1870—1920.



ПЕТРОГРАД.
1920.

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ Т-ВО
„КОЛОС“
ПЕТРОГРАД.

2-я Государственная Типография. Галерная, 1.

Скиф сороковых годов.

> Я, как настоящий скиф, с радостью вижу, как разваливается старый мир, и думаю, что наше призвание—возвещать ему его близкую кончину.
>
> *Герцен*, „Былое и Думы“ гл. XLI.

„...Варвары спокон века отличались тонким зрением; нам Геродот делает особую честь, говоря, что у нас глаза ящерицы“...

Так вспоминает о скифах Герцен при первом своем соприкосновении с Европой. И если „скифство“ есть „духовный максимализм“, то кто же как не Герцен является у нас его ярким выразителем?

„Мы — бездники“: эти слова современного писателя вскрывают сущность русской души—и Пушкина, и крайнего революционера наших дней. Мы — „бездники“ не только потому, что есть упоение „бездны мрачной на краю“, но и потому, что нет удовлетворения в полу-достижениях, в полу-совершениях. В этом наша сила и наша слабость, в этом глубокая разница между молодой не культурной Россией и старой цивилизованной Европой. Конечно, и там есть мощные ростки новой культуры, и у нас есть доспевшие плоды приличной цивилизации, есть „скифы“ и в Европе, есть „европейцы“ и в России, но в общем — еще Герцен отметил, что „нашей душе несвойственна эта среда, она не может утолять жажды

таким жиденьким винцом: она или гораздо выше этой жизни, или гораздо ниже,—но в обоих случаях шире".

Герцен-юноша, переписка с Наташей—первые иллюстрации к этому положению. Письма Герцена, часто слишком звонкие, не без позы, хотя бы и искренней; письма Наташи, далеко превосходящей здесь Герцена силою и искренностью, эти десятки поэтических в прозе писем пушкинской Татьяны: какие требования к жизни, какая вера в нее! И какие переживания! Взвинченные—скажут одни; требовательные — скажут другие. После такой переписки не могла удаться жизнь. Да, в этом—судьба всех „лишних людей" той эпохи. Но ведь недаром же и говорим мы о них: лишние люди — лучшие люди.

Варварство, скифство, неумение прочно и твердо строить жизнь! Конечно. И, повторяю, в этом слабость, но в этом и сила. Когда варвар этот попадает в Европу—слишком велики его требования к ней, чтобы она могла его удовлетворить. „Знаменитое grattez un Russe et vous trouverez un barbare — совершенно справедливо,—пишет Риберолю прошедший уже через Европу Герцен:—кто в выигрыше, я не знаю, но знаю то, что варвар *этот* — самый неприятный свидетель для Европы"... Революция 1848 года пыталась осуществить крайние чаяния западных „варваров", горел вместе с ними и Герцен. Горел и сгорел: пепел собрал он в лучших своих достижениях, в статьях и письмах 1848 — 1849 года. „Драмы" Герцена написанные в России, завершились в Европе драмой его жизни, революцией 1848 года заключилась начатая им трилогия. Здесь высший пункт его жизненного пафоса, его житейского пути; в пятидесятых и шестидесятых годах еще ожидала его кипучая работа, зажглась полярная звезда, сзывал живых колокол, но никогда уже не поднимался Герцен, мыслитель и революционер, выше тех духовных вершин, каких достиг он в годы первой европейской революции.

Он первый—еще в юношеских драмах своих!—провидел борьбу мира старого с новым и понял, что русскому скифу дано будет принять в борьбе этой решающее участие. „Вы, русские,—говорил ему герцог де-Ноаль в первые дни начинающейся бури 1848 года,—или совершеннейшие рабы, или—passez moi le mot—анархисты“. Он был прав, сановный герцог, и как характерно, что свое, „passez moi le mot“ он прибавил не к „рабам“, а к „анархистам“! Да, „мы—бездники“. У нас, говорит Герцен, нет этой хозяйственной расчетливости, этой нравственной гигиены, которая боялась бы истины, потому что до нее не дошел черед. „Нам не к лицу эта старческая воздержность... Мы проще, мы здоровее, больничная разборчивость пищи нам нейдет, мы не адвокаты, не мещане“...

Мы,—но кто „мы“? Не многообразно-ли русское общество, нет разве в нем и других групп—честно-либеральных, вполне „европейских“? Как не быть—есть, конечно; и уже во времена Герцена обозначались эти „два пути“: социализма и либерализма, Белинского или Герцена—с одной стороны, Грановского или Кавелина—с другой. „У нас—говорит Герцен—может быть и образуется теперь слегка либеральная, парная оппозиция, она даже будет не без пользы для нравов, чтоб обчистить помещичью грязь и кавалерийскую солому, занесенную из конюшен во все жизненные отношения“.

„Мы“ могли долгое время идти вместе с „ними“ против общего врага, но 1917 год показал, в какие разные стороны расходятся эти пути. Мало того—он показал, как резко расслоились и „мы“ со времен Герцена. „Мы бездники“: разве всякий социалист, всякий анархист примет это положение? Грановские от социализма, Кавелины от анархизма (говорю о лучших) выявили достаточно ясно свое лицо. Выявили его и „бездники“ на словах, практики на деле, рассчетливые Марфы от революции, тщетно рядящиеся в слова Марии. „Безд-

ников" мало было всегда, мало и теперь. И все-же прав Герцен: „многосторонность наша—великое дело, замена, выкуп горького, бедного прошедшего; не будем же по Оригену сами себя уродовать, чтоб не согрешать".

И пусть далеко от нас будет высокомерное презрение ко всем людям другого мира, иного склада, не нашей веры. Одни идут вперед по краю бездны,—ибо верят, что нет иного пути вперед, другие ищут торных дорог и обычных путей. О лучших из них говорит — не без некоторого впрочем презрения — Герцен, вспоминая о Луи Блане: „незыблемая уверенность в основах, однажды принятых, слегка проветриваемая холодным рациональным ветерком, прочно держалась на нравственных подпорочках, силу которых он никогда не испытывал, потому что верил в нее. Мозговая религиозность и отсутствие скептического сосания под ложечкой обводили его китайской стеной, за которую нельзя было забросить ни одной новой мысли, ни одного сомнения". И это—почти постоянное чувство скифа в старой Европа, среди культуры, загроможденной цивилизацией, среди цивилизованных „дикарей высшей культуры".

На закате дней своих, на закате старой Европы, на пороге грядущей Коммуны — Герцен пророчески предвидел последнюю схватку старого мира, в которой „или Европа себя убьет, или реакция". Старый скиф сороковых годов, он будто видел за пол-века вперед гибель старого мира в море крови, крушение надежд всех людей размеренного исторического пути, видел бездну под их ногами. И не верится, что вот эти строки написаны на рубеже 1867 года, а не полувеком позднее:

„Теперь дайте место безумию, бешенству крови, которыми или Европа себя убьет, или реакция... Теперь миллион отсюда, милион оттуда, с иголками и другими пружинами. Теперь пойдут озера крови, моря крови, горы трупов... а там тиф, голод, пожары, пустыри. А! господа консерваторы, вы не хотели даже такой бледной

республики, как февральская, не хотели подслащенной демократии!.. Вы хотели *порядка*. Будет вам за то война семилетняя, тридцатилетняя... Вы боялись социальных реформ, вот вам фениане с бочкой пороха и зажженным фитилем. Кто в дураках?"

Вопрос поставлен резко, ответ на него слишком ясен: в дураках у истории остаются всегда „люди порядка". Так было всегда, так было везде; всегда и везде конечная победа—предназначена скифам, как бы далеко ни завел Дарий свои полчища. И идейная победа осталась за Герценом сороковых годов, а не за либеральными „людьми порядка" той эпохи.

„Бездник" сороковых годов, он духовно близок нам, точно человек сегодняшнего дня, или вернее — дня завтрашнего. И еще долго продлится это „завтра" мировой истории. Человек, писатель, мыслитель, революционер, социалист, вечный „скиф" — Герцен надолго еще останется современным для молодых поколений будущего, для „скифов" грядущих времен и народов.

1920.

„Маленький роман“ Герцена

(Герцен и Медведева.)

Наказание идет рядом с проступком, оно есть одно из естественных последствий, а у кого душа так свихнута, что проступок не развивается в наказание, для него положительное законодательство имеет тюрьмы, штрафы, etc, etc. Страшный суд переехал вместе со всем заприродным на землю, он—наше царство небесное внутри человека. Какие минуты ужаснейших страданий я перенес некогда за Медведеву!

А. И. Герцен, «Дневник», 13 авг. 1842 г.

I.

В эпоху своей Вятской и Владимирской ссылки Герцен отдавал много времени попыткам художественного творчества. Впоследствии, и очень скоро, он признал, что область эта—не его область, что все подобные статьи «родятся у меня per abortum—естественный недостаток» (острил сам над собой Герцен). Поэтому он вскоре уничтожил большую часть написанного им в 1835—1839 гг.; кое-что, однако, случайно уцелело в списках. До сих пор считались окончательно утерянными следующие произведения Герцена этих годов: «I Maestri», «Симпатия», «Мысль и откровение», повести

«Швед» («Третья встреча»), «Там» («Елена»), «Его Превосходительство», драматические сцены «Лициний» и «Вильям Пенн», статья об архитектуре и еще некоторые произведения. «Нет, все, что я писал, глупо!— восклицал Герцен в одном из найденных мною в архиве А. Н. Пыпина писем той эпохи:—сожгу все, кроме статьи Архитектурной, а она, может, всех глупее, да в ней есть хоть указанье на мысль широкую... Есть мысль хорошая для новой повести, а как примешься писать— выйдет чорт знает что. Пунш, в котором и чай и ром, испорчены друг другом, ром не пьянист, а чай воняет, как человек с похмелья»... (письмо к Кетчеру от «1 марта» —повидимому,1837 года). Через несколько лет, вероятно, в конце 1839 или в начале 1840 года, Герцен писал на списке «Вильяма Пенна»: «я решительно сожгу этот неудавшийся опыт»... Но, к счастью, не сжог, и мы ниже ознакомимся с этим произведением. Повидимому, не сжег Герцен также и других своих перечисленных выше произведений; во всяком случае еще есть надежды найти некоторые из них. Так, например, списки «Лициния» могли еще сохраниться в Вятке: Герцен посылал их из Владимира своим друзьям—А. Е. Скворцову, П. П. Медведевой, А. Л. Витбергу. Там-же могла сохраниться и статья «Симпатия», посвященная изображе, нию Полины Тромпетер (вскоре жены А. Е. Скворцова). Кое-что, повидимому, безвозвратно погибло в бумагах А. Л. Витберга, уничтоженных пожарами в 1854 и 1868 гг. Отрывки из «статьи Архитектурной» уцелели в листке дневника от 6 ноября 1836 года. Наконец мне удалось в 1912 г. рядом с «Вильямом Пенном» найти в бумагах А. Н. Пыпина считавшуюся утерянной повесть Герцена «Там». Она представляет значительный автобиографический интерес, и поэтому мы подробно остановимся здесь на ней в связи с одним из эпизодов вятской жизни Герцена. Мы расскажем этот эпизод, пользуясь и перепиской Герцена с Наташей, и найденными в том-же

архиве письмами Герцена к Кетчеру, и позднейшими признаниями из «Былого и Дум» *).

Сосланный в Вятку, изнывающий в скуке, озлобленный на всех и все, Герцен сперва с головой бросился в кутеж, «прожигание жизни», но скоро опомнился и остановился. «...Ссылка хуже тюрьмы, это очень справедливо,—писал тогда-же Герцен Кетчеру из Вятки (22 ноября 1835 г.):—какая-то ничтожность, земляность покрыла мою душу здесь. Для занятий почти нет времени; целое утро в канцелярии, а после обеда по большой части пропадает: les devoirs de la societé маленького городка обязывают всякого делать глупости. Сначала я развратничал; но остановился, вспомнив, что я обязан беречь свою душу для других ощущений, и еще более увидел пустоту этих ложных, искусственных чувств, стремясь к настоящим»... К этому времени в Вятку приехал Витберг. Герцен близко сошелся с ним, одно время совместно с ним жил и в его обществе находил спасение от угнетающих провинциальных devoirs de la societé. Другим прибежищем и спасением была деятельная переписка его с кузиной Наташей (Наталией Александровной Захарьиной), поднимавшая его душу. Сперва Герцен любил Наташу, как «милую сестру», и только мало-помалу стал понимать, что его и Наташу связывают не родственные чувства, не дружба, а любовь; только к началу 1836 года Александр и Наташа поняли, что «души их обручены», что они все друг для друга (письма от 2 и 15 янв. 1836 г.). С этого времени их переписка становится одним сплошным гимном любви; а раньше Герцен мог еще полушутя сообщать «милой сестре» о своих вятских сердечных увлечениях и победах почти

*) Несколько случайных сведений о повести «Там» можно найти в известных книгах Анненкова и в статье Некрасовой «Юношеские литературные труды Герцена», «Северн. Вестн.», 1895 г., № 9.

то-же самое, что сообщал он в письме к Кетчеру. «Любовь—писал ему Герцен 22 ноября 1835 года—высокое слово, гармония создания требует ее, без нее нет жизни и быть не может. Да ведь и ты влюблен—что ж тут толковать.

«Одной лишь я любови трушу».

(А признаюсь, здесь есть одна дама, умна, красавица прелесть, образована и... у ней муж старик, и у того старика нога болит).

«А как не полюбить буфетчика Петрушу?»

Ну, прощай, друг; по обыкновению я кончил глупостью, нельзя же переродиться»... Полуторами месяцами раньше Герцен об этом же писал Наташе: «здесь есть одна премиленькая дама, а муж ее больной старик, она сама здесь чужая, и в ней что-то томное, милое—словом, довольно имеет качеств, чтобы быть героиней маленького романа в Вятке» (1 октября 1835 г.). В декабре «маленький роман» пришел к развязке, а в январе 1836 года (числа 17—18-го) умер муж-старик, и в те-же самые дни Герцен и Наташа впервые выявили свою любовь, «обручили свои души» (письмо Герцена к Наташе от 15 янв. 1836 года). А «героиня маленького романа в Вятке», отдавшаяся Герцену душой и телом, ждала теперь от него закрепления их отношений... Так легкая развязка «маленького романа» стала для Герцена завязкой тяжелой душевной драмы... «Героиня *маленького* романа выросла в *большое* угрызение совести», —писал впоследствии Герцен Наташе (из Владимира, 5 февр. 1838 г.).

Героиней этого вятского романа была Прасковья Петровна Медведева; в «Былом и Думах» Герцен посвятил ей целую главу (XXI-ую), говоря о своем романе

с «Р» *). Этот «роман» нам надо восстановить в общих чертах, так как именно он лег в основу повести «Там!», и Медведева явилась оригиналом для Елены, героине этой повести; а повесть эта в свою очередь бросает яркий свет на целый ряд мест из переписки Герцена с Наташей, мест, до сих пор неясных. Повесть «Там!» и эта «переписка» взаимно об'ясняют друг друга; и мы, прежде чем перейти к содержанию этой повести, обратимся к тем местам «переписки», которые касаются этого «маленького романа» Герцена и «больших угрызений» его совести.

Угрызения начались скоро. Еще в конце 1835 года Герцен отвечал Наташе на вопрос, ведет ли он свой дневник: „журнала своего я не пишу, мой журнал был бы хуже всякого угрызения совести"... В январе 1836 г. Герцен и Наташа окончательно об'яснились, но тогда-же умер муж Медведевой, и Герцен стал по отношению к ней в глубоко ложное положение. „Маленький роман" с Медведевой был для него мимолетным, хотя и искренним увлечением; для Медведевой он был поворотным пунктом всей жизни. Она глубоко любила Герцена; она ждала теперь, что он свяжет навсегда свою жизнь с ее жизнью; а он не смел сказать ей о Наташе, о своей новой, подлинной и глубокой любви. „Р. страдала; между тем я с жалкой слабостью ждал от времени случайных разрешений и длил, и длил полу-ложь"— вспоминал Герцен впоследствии в „Былом и Думах" (цити-

---

*) Очевидно, первая буква имени «Pauline», так как, разумеется, по примеру пушкинской Лариной, и в Вятке «Полиной звали Парасковью»... В одном из писем Герцена к Наташе (от 15 янв. 1836 г.) он говорит о «двух Полинах», имея в виду Полину Тромпетер, впоследствии Скворцову, и Полину-Прасковью Медведеву. (Ниже нам понадобится это указание, что Медведеву и Герцен и Наташа называли Полиной). «Здесь две Pauline, писал тогда Герцен, еще скрывая от Наташи свои отношения к Медведевой, —и обе очень хороши, и обе нравятся мне и, pour passer le temps, я обеими очень занят»...

рую по варианту женевского издания). После смерти мужа Медведева с тремя своими детьми – ей было тогда 23-24 года—переехала жить к Витбергу, чтобы спастись от назойливого ухаживания вятского губернатора, грубого аракчеевца Тюфяева; с Витбергом жил тогда Герцен, и тяжело ему было очутиться под одной кровлей с Медведевой, невольно покинутой им и страдающей. Надо было разрубить узел завязавшейся драмы, надо было рассказать Наташе про историю с Медведевой, надо было сказать Медведевой о своей любви к Наташе. И то, и другое было трудно, мучительно, тяжело. В письмах к Наташе Герцен делает сперва только глухие намеки; он рассказывает, например, что о своей любви к ней, Наташе, он в Вятке говорит только с „другой Полиной“ (т. е. Тромпетер), но что „не говорил я о ней с Медведевой, *ибо я знаю, что ей это было бы неприятно*, она и так довольно несчастна“ (письмо от 27 апр. 1836 г.; подчеркнуто Герценом). Чуткая Наташа по своему поняла намек: Медведева вероятно безнадежно влюблена в ее „божественного Александра“ и страдает. „Знаешь-ли, Александр, — отвечала Наташа 9 мая 1836 г.,—читая в твоем письме о Медведевой, у меня навернулись слезы на глазах, сердце сжалось... Несчастная! Она любит тебя?.. О, друг мой, спаси, спаси ее, не убивай! Ты не говоришь ей теперь обо мне потому, что ей было бы это неприятно, но легче-ли будет ея сердцу узнать это *после?..* Мне жаль ее, ты можешь все, Александр, тебе поручаю ее, спаси ее от самого себя. Ты раскаивался прежде, что завлек несчастное существо *),—стало, в любви Медведевой не ты виною? Не будь же виною в ее страданиях, в несчастии всей ее жизни. Ангел мой, будь чист всегда; полагаюсь на

---

*) Наташа говорит здесь о юношеской любви Герцена к Людмиле Пассек (в 1832–1834 г.).

тебя. Прощай, обнимаю тебя и, целуя, повторяю: спаси ее, спаси!"

В ответ на эти строки Герцен пишет взволнованное письмо от 19 июня 1836 г. Он во всем признается Наташе: он низко пал, он увлек полюбившую его Медведеву, а сам разлюбил ее,—более того, он никогда не любил ее подлинной любовью, но понял это только после того, когда открыл в своей душе любовь к Наташе; он хочет верить, что Медведева скоро забудет его, но все же пока боится сказать ей о Наташе. „Вот тебе моя исповедь! Она мрачна, ужасна. Вздумай мое положение; ты не знаешь, что такое угрызение совести после низкого поступка. О Наташа, будь ангелом благости, прости твоему избранному, твоему Александру!"— Тяжело было Наташе читать это признание; но ни на минуту не осудила она своего избранника: „всею душой, всею любовью моею я прощала тебя на каждом слове"... Слишком тесно были сплетены тогда их души; не было Наташи, не было Александра, был „Натаксандр"— как называла их обоих Саша Клиентова, подруга Наташи. „О, только успокойся, ради Бога, не воображай, чтобы ты изменился предо мною, чтоб я насколько нибудь отклонилась от тебя; уверяю тебя, в тебе нет ничего, что было бы вне об'ятий души моей"... И Наташа отдает судьбу Медведевой в *его* руки: „да поможет тебе Бог спасти ее!" (12 июля 1836 года).

С этих пор почти в каждом письме Герцена и Наташи мы находим по несколько строк о Медведевой и ея положении. Герцен мучается, терзается, обвиняет себе в страданиях Медведевой: „мой поступок черен. Она страдает—это ужасно! И где-ж справедливость? Бог дает мне ангела за то, что я погубил женщину. Чем все это кончится—не знаю, но предчувствие не к добру" (25 сент. 1836 г.). „Что за ролю я теперь играю? И какую прелестную, поэтическую душу погубил я? И этот человек смеет думать о Наташе? Вот, что утрои-

вает мой крест, вот что делает мою мечту дикой, мрачной“ (18 октября 1836 г.). „Да ежели это испытание, ежели это унижение, посланное мне от Бога, чтобы смирить меня, то цель достижена: я в глазах моих преступник... Выбора нет: или убить ее одним словом, или молчанием и полуобманом играть подлую роль, выжидая время. Я решился на последнее. Тут вполне я наказан“ (7 ноября 1836 г.). И еще целый год после этого, почти до конца своего пребывания в Вятке, Герцен „выжидал время“ и „длил полуложь“: он боялся трагического конца, боялся, что Медведева не вынесет истины, в отчаянии уйдет от жизни. А Наташа в это время готова была всем пожертвовать для Медведевой: „возьми, возьми, Господи, от меня радость и покой, отдай ей“; она утешала и ободряла своего „божественного Александра“, старалась оправдать его в его-же собственных глазах. Это ей плохо удавалось: Герцен продолжал терзаться, он чувствовал себя убийцей, предателем („убийство не чернее такой гнусности“). В отрывках из его записей той эпохи мы находим под 14 октября 1836 года следующую характерную заметку: „представьте себе медаль, на одной стороне которой будет изображено Преображение, на другой—Иуда Искариот!!—Человек“. И прежде всего эту мысль Герцен относил к самому себе; он писал Наташе 1 ноября 1836 г. „Эта смесь добродетели и пороков, этот ангел и дьявол, эта любовь и эгоизм, эти обломки разных истин, чувств, заблуждений, разврата, восторженности, эта медаль, на которой с одной стороны Христос, а с другой—Иуда Искариотский, называемые Александр, как далеки они от совершенства!..“ И впоследствии, уже во Владимире, вспоминая о Медведевой, Герцен снова говорил „о медали, на которой с одной стороны Иисус, а с другой Иуда... разве не так? разве я не ангел тебе и не демон для нее?..“

Так прожил Герцен в Вятке два трудные года—1836-ой и 1837-ой; он тяжело расплачивался за мимолетное увлечение, за страдания глубоко полюбившей его женщины. В конце 1837 года он получил известие о своем переводе во Владимир, и понял, что надо так или иначе разрубить запутанный узел своих отношений к Медведевой. 29 ноября 1837 г. Герцен пришел к Витбергу, „как осужденный на казнь", и рассказал ему *все*—свои былые отношения к Медведевой, свои отношения к Наташе; уезжая из Вятки, на его попечении хотел оставить Герцен Медведеву. Днем раньше Герцен написал самой Медведевой письмо—„полную исповедь", признание в своей любви к другой, к Наташе... Медведева была потрясена и на целый день заперлась в своей комнате. „Можно себе представить, как я провел эту ночь; я испытал все, что может испытать преступник, боящийся, что его уличат" (цит. по женевскому изд. „Былого и Дум"). На следующее утро Герцен получил от нее письмо. „Я почти не спал всю ночь, с волнением распечатал я дрожащей рукой. Она писала кротко, благородно и глубоко печально... в ее примирительных словах слышался затаенный стон слабой груди, крик боли, подавленный чрезвычайным усилием. Она благословляла меня на новую жизнь, желала нам счастия, называла Natalie сестрой и протягивала нам руку на забвение прошедшего и на будущую дружбу,—как будто она была виновата! Рыдая, перечитывал я ее письмо. Qual cuor tradisti!" (Ibid.).

Герцен рыдал—и в то же время воскресал душою: он увидел, что Медведева *будет жить*, что не наложит она на него величайшего и непоправимого наказания—своей смерти. И Герцен шлет 1 декабря 1837 года восторженное письмо своей Наташе: черные тучи прошли, солнце выглянуло, гроза миновала. „Медведева воскресла; в женском сердце есть много силы, ежели достанет только решимости. Она мне писала, она поняла,

отчего мои страдания; она говорит, что все кончено, Бог ее укрепил, и что она отдается вся воспитанию своих детей и с ними, беззащитная, будет искать пропитания. Нет, не бесзащитная, это—вздор. Теперь я подам ей руку, теперь она увидит, для кого она сделала жертву; о, до последней капли крови я ей друг после этого. Лишь бы она выдержала характер"... И Наташа тоже восторженно отвечает на это Герцену: „слава Богу за Медведеву! до гроба мы должны быть опорой и крышей ей и ее детям... Ежели ты говоришь с Медведевой обо мне, скажи ей, что, когда она будет вспоминать обо мне, не забывала-б, что у ней нет родной ближе, что до гроба я ей сестра, друг, якорь на бурном океане жизни; вот ей рука моя, моя клятва; ежели-ж все это отвергнуто—пусть не знает и того, что за нее вечная молитва"... (18 дек. 1837 г.).

Выяснив свои отношения с Медведевой, Герцен мог без тревоги покинуть Вятку. Но все-же с горьким чувством вспоминал Герцен, прощаясь с Вяткой, свою вину, свое нравственное падение... „Здесь стоял я у изголовья несчастного Витберга, здесь видел поэта во всей славе—Жуковского; здесь, наконец, я встретил лилию, вырастающую на гробу, и сорвал ее для того, чтобы насладиться запахом, и задушил ее... Отсюда понесу я воспоминания, переплетенные дружбой, на черном фоне сукна, которым покрывают плаху" (14 дек. 1837 г.). Еще не раз после этого обменивался он в письмах с Наташей известиями о Медведевой не раз также он просил Наташу написать Медведевой письмо. До нас дошло несколько отрывков писем их друг к другу: начало письма Медведевой к Герцену от января 1838 г. („Брат! после жестокого пароксизма больному возвращаются силы медленно, но Господь милосерд"...); общее содержание письма Наташи к Медведевой от 22 февр. 1838 г.; ответное письмо Медведевой (по поводу которого Герцен в восторге говорит Наташе: „о, она стоит быть

твоей сестрой, выше человека я не могу поставить"...); позднейшее письмо Медведевой к Наташе от 24 дек. 1839 года; наконец, мы имеем целиком третье письмо Наташи к Медведевой от 29 апреля 1838 г. Письмо это напечатано в VII томе петербургского издания сочинений Герцена под видом „письма к Полине" (т. VII, стр. 582), а потому письмо это, как нам пришлось убедиться, по большей части ошибочно относят к Полине Тромпетер-Скворцовой. Мы уже подчеркнули, однако, что и Медведеву тоже называли „Полиной", и указанное выше письмо адресовано несомненно ей. „Друг мой, дивная сестра моя, Полина!—пишет Наташа Медведевой:—ты все более и более приводишь меня в восторг, все более и более сестра мне! Оба письма твои получила, *семья наша* делается все чище, святее—расти, друг! Умножая наше счастье—увеличивай свою славу. Я благодарю Бога за твою встречу с Александром, она вам была необходима обоим, она обоим вам—ступень к небу. О, какая дивная душа у тебя, моя Полина, я горжусь тобою, и какою стройною, величественною песнью льется она в мою душу, как отрадно им вместе, как хорошо. Как две чистые капли росы, слитые в одну, отражают они и Бога и его"... „Его"—это значит Александра, которого так любили, каждая по своему, обе эти пронизанные поэзией женщины. По глубочайшей прелести, по восторженным переживаниям, это нечто единственное во всей русской литературе. Какие два сердца любили „его", и с какой болью, поистине, должен был „он" чувствовать, что предал одно из них на пропятие! Qual cuor tradisti!..

Но так или иначе—узел развязался. И незадолго до своей свадьбы с Александром, Наташа в восторженном письме к нему (21 марта 1838 г.) как бы подводит итог всем взаимным отношениям этих трех лиц тяжелой драмы. „Твое письмо и Медведевой письмо,—пишет Наташа, и восклицает:—слава Богу! слава Богу! Про-

читав его, первое движение мое было упасть на землю и благодарить Господа. Истинно, нет меры моему блаженству. Буду, буду писать ей, непременно. Она—ближайшая родственница моей души, не ропщи за встречу с ней, благодари Бога за нее, она обоим вам благо. Тебе—смирение, ей—спасение, мне—блаженство, слава тебе Господи, слава Тебе!..“ Так кончилось, но могло кончиться и не так; недаром сам Герцен все эти два года (1836—1837) так боялся трагической, печальной развязки. И именно предполагая такую развязку, написал он в эти-же два года автобиографическую повесть „Там!“, главными действующими лицами которой являются он, Наташа и Медведева. Теперь, когда „маленький роман“ из вятской жизни Герцена и „большие угрызения“ его совести нами восстановлены в общих чертах, мы можем обратиться к этой найденной нами повести Герцена.

II.

Кое-что об этой повести „Там!“ было уже известно со слов самого Герцена. В предисловии к заграничному изданию романа „Кто виноват“ (1859 г.) Герцен называл этот роман первой напечатанной своей повестью, прибавляя: „правда, еще прежде я делал опыты писать что-то в роде повестей; но одна из них *не написана*, а другая—*не повесть*. В первое время моего переезда из Вятки в Владимир, мне хотелось повестью смягчить укоряющее воспоминание, примириться с собою и забросать цветами один женский образ, чтобы на нем не было видно слез“... Ясно, что здесь Герцен говорит о Медведевой, и, следовательно, его „не повесть“ есть именно „Там!“. „Разумеется,—продолжает Герцен,—что я не сладил с своей задачей, и в моей неоконченной

повести была бездна натянутого и, может, две-три порядочные страницы. Один из друзей моих *) впоследствии стращал меня говоря: „если ты не напишешь новой статьи, я напечатаю твою повесть, она у меня!“. По счастью, он не исполнил своей угрозы“... Последнее об'ясняет всетаки, каким образом до нас мог дойти список этой „не повести“. В другом месте, а именно в конце XXI-й главы „Былого и Дум“, Герцен еще раз коснулся этого своего произведения в связи с рассказом о Медведевой. которую он называет „Р“. „Уехав из Вятки, меня долго мучило воспоминание об Р.,—пишет Герцен со свойственными ему галлицизмами.—Мирясь с собой, я принялся писать повесть, героиней которой была Р. Я представил барича екатерининских времен, покинувшего женщину, любившую его, и женившегося на другой. Она чахнет и умирает. Весть о ее смерти тяжко падает на него, он сделался мрачен, задумчив и, наконец, сошел с ума. Его жена, идеал кротости и самоотвержения, испытав все везет его, в одну из тихих минут, в Девичий монастырь и бросается с ним на колени перед могилой несчастной женщины, прося прощения и заступничества. Из окон монастыря достигают слова молитвы, тихие женские голоса поют об отпущении — барич выздоравливает. Повесть вышла плоха“... Как видим, здесь в общих чертах приводится даже содержание повести „Там!“. Однако, и в передаче этого содержания, и в некоторых частностях Герцен допустил ряд ошибок; и неудивительно—свои воспоминания он писал через пятнадцать лет после своей жизни в Вятке.

Одна из главных ошибок—будто он эту повесть „Там!“ начал писать во Владимире. Это—неверно: она

---

*) Вероятно, Герцен имеет в виду Н. Х. Кетчера, который взял список „Там!“ для напечатания в 1838 г. в „Сыне Отечества“. Однако, повесть напечатана не была.

была и задумана, и написана в Вятке, как раз в те самые два года, когда Герцен терзался своими невыясненными отношениями к Медведевой и боялся трагического исхода своего „маленького романа“. Все это можно вполне наглядно проследить по его переписке с Наташей. Уже в письме от 1-го апреля 1836 г. Герцен сообщает Наташе „мысль для повести“: человек, одаренный высокою душою и маленьким характером... Очевидно, что Герцен имел при этом в виду самого себя. Месяцем позднее он писал Наташе о том, что он задумывает теперь большое произведение, чуть ли не роман, „который поглотит в себе и ту тему, о которой писал тебе в прошлом письме, и многое из моей собственной жизни. Я решительно хочу в каждом сочинении моем видеть отдельную часть жизни души моей. Пусть их совокупность будет иероглифическая биография моя, которую толпа не поймет, но поймут люди. Пусть впечатления, которым я подвергался, выражаются отдельными повестями, где все вымысел, но основа—истина“ (27 апр. 1836 г.). В этом же письме Герцен сделал Наташе—мы отметили выше—первый намек на свои отношения к Медведевой. В июне месяце этого-же года Герцен принес полную исповедь своей Наташе, а в сентябре он уже писал ей о повести „Там!“: „повесть я начал и написал IV главы. Там являются две женщины на сцену. Елена, которой я придал характер Медведевой, это—женщина земная, это—любовь материальная, доведенная до поэзии, но до поэзии земной, и княжна, которой я несколькими чертами дал твой божественный характер, где уже и следа нет земли, где одно небо и небо яхонтовое, небо Италии. Но все это—набросок. Впрочем ты там найдешь толпу выражений из наших писем“ (21 сент. 1836 г.). И еще месяцем позднее Герцен снова сообщает Наташе: „моя повесть—это моя жизнь... Повесть растет в моей мысли. Тут будет все: философия, поэзия, жизнь, мистицизм и на каж-

дой странице *ты*. Я целые места выпишу из твоих писем и потому эта повесть будет носить подпись: Александр / Наталия } Герцен,—у меня отдельно уже не может ничего быть...“ (18 окт. 1836 г.). Около того-же времени Герцен подробно писал о повести „Там!“ своим московским друзьям, Кетчеру и Сазонову; письмо это полностью (хотя и с некоторыми ошибками) впервые было приведено в статье Анненкова „Идеалисты тридцатых годов“ (т. I, стр. 15—16).

Из всех этих и еще многих других мест переписки Герцена можно заключить, что сперва Герцен имел в виду написать большое произведение, чуть-ли не роман,—громадную „иероглифическую автобиографию“; но мало по малу отказался от этой мысли *), ограничиваясь только одним отрывком — воспроизведением своей истории с Медведевой **). „Повесть моя остановилась,— писал Герцен Наташе 10 янв. 1837 года,—но все еще не бросаю, хочется выразить мысли, заповедные в душе, хочется еще облечь в образы всех действовавших на мою жизнь... А как приходится писать — все недостаточно, у людей с истинным талантом этого не бывает. Впрочем, один барельеф иссечен верно, это —Медведева, может потому, что она слишком сильно потрясла мою душу, слишком выказала слабую душу мою“... Итак, повесть „Там!“—это в сущности только отрывок из задуманной большой вещи, но отрывок вполне законченный, заключающий в себе „барельеф Медведевой“. Закончена эта вещь была уже в сентябре 1836 г., хотя еще долго после этого Герцен поправлял, дописывал, продолжал и снова бросал эту повесть. „Не знаю, что

---

*) Это и есть та *ненаписанная повесть*, о которой Герцен говорит в предисловии 1859 года ко второму изданию „Кто виноват“ (мы говорили об этом выше).

**) Это и есть та *написанная не-повесть*, о которой Герцен говорит там-же.

то с новою повестью будет; некоторые места хороши“ (письмо к Наташе, 23 сент. 1836 г.); „повесть идет вперед“ (14 окт.); „повесть остановилась: занятия другие есть“ (11 ноября); „перечитывал начало повести *Там*. Нет, все это ужасно слабо, едва набросаны контуры: смело, но бедно, очень бедно“ (15 февр. 1837 г.); „повесть моя не двигается, да кажется, и не двинется. У меня нет таланта к повестям; сверх того я хотел в нее влить многое из своей жизни, а все это еще слишком свежо, чтоб можно было писать“ (21 апреля); „повесть бросил; писать повести, кажется не мое дело“ (28 мая); „дело решенное: повести—не мой род. *Там* решительно, как видно, смертный приговор, ей заклеивать окны на зиму“ (письмо от конца июня, с подзаголовком: „и примерно не знаю, которое число“).

Произнеся такой суровый и в общем справедливый приговор над собою, как художником, Герцен не стал больше заниматься этой своей повестью. Переехав во Владимир, он отдал ее списать приехавшему к нему Н. Х. Кетчеру, а тот собирался напечатать ее в „Сыне Отечества“ 1838 года. Кетчеру-же поручил Герцен передать эту повесть—отрывок „Там!“, касающийся Медведевой—для прочтения Наташе. Кетчер долго не не передавал, и Герцен напоминал ему об этом (письма к Наташе от 12, 20, 28 февраля 1838 г.), заодно давая указания насчет перемены заглавия. „Мы много глупого оставили в отрывке,—писал Герцен Кетчеру в это-же самое время:—ежели он у тебя, поправь, во-первых, заглавие, поставь вместо „Там“—„Елена“. *Там*—относится к Анатолю. Потом вымарай „через десять лет“. Это вовсе не нужно. А отослать тетрадь о моей жизни вовсе нужно Наташе“. И в то же время Герцен нетерпеливо спрашивал у Наташи: „ну, читала-ли повесть? Жду суда“ (11 марта 1838 г.); или, тремя днями позже: „да чтож ты не пишешь о повести? но я ее разлюбил и сам“. Наконец, 24-го марта Наташа по-

лучила и прочла эту „не-повесть“... Теперь и мы можем с ней познакомиться.

В лежащем перед нами списке повесть озаглавлена „Там!“ („отрывок“) и посвящена „А. Е. Скворцову в память Вятской жизни“; общий эпиграф, взятый из Шиллера гласит: „Und das *dort* ist niemals hier“. Кроме того, эпиграфами снабжены и две первые главы; к первой взят эпиграфом стих Озерова: „Спокойно я мой век на камне кончу сем“. Эти слова относятся к „коллежскому советнику и ордена св. Анны 2-й степени кавалеру Ивану Сергеевичу Тилькову“, который уже давно „жил спокойно и тихо, потому что не умиралось“, в собственном небольшом доме в Москве на Поварской. Когда-то, давным-давно, получил он воспитание „в домашнем пенсионе у профессора Дилтея“, прилежно и благонравно учился там, а затем столь-же прилежно и благонравно служил в гвардии полковым ад'ютантом, затем советником в какой-то коллегии, где „сумел сохранить чистоту совести и чистоту рук“, и, наконец, благополучно вышел в отставку и стал дожидаться ясной старости, безмятежно доживая свой век старым холостяком. Старуха Устинья ходила за ним, как за ребенком, а сам он ходил, как за сыном, за огромной датской собакой, Плутусом—и это была вся его семья. „Таким образом, жил Иван Сергеевич, готовясь попасть в тот просцениум Дантова ада, где бродит толпа душ, неимеющих места ни в раю, ни в преисподней“... В общем это был добрый, спокойный и честный человек, проживший скучную, спокойную и ненужную жизнь; „он мог бы и умереть, не сделав ничего доброго, кроме благодетельных попечений о Плутусе“... Но—„иначе судила судьба!“ Старуха Устинья стала замечать, что Иван Сергеевич часто уходит из дома и даже иногда забывает кормить Плутуса; так продолжалось несколько месяцев. Однажды Иван Сергеевич вернулся домой заплаканный и рассеянный, а вслед за ним приехала карета, в которой „при-

везли полуторагодового ребенка со всем детским багажем“; привезшая его женщина вся в черном „целовала руки Ивана Сергеевича и просила Бога ради не оставлять круглую сироту; потом речь шла о каких-то похоронах, о какой--то свадьбе“... Женщина уехала, а Иван Сергеевич стал с этих пор заботиться о маленьком Анатоле, как самая нежная мать, и стал доживать свой век, ростя ребенка и радуясь, „что жизнь его имеет пользу и цель“...

Так кончается первая глава, единственная, не имеющая автобиографических элементов; Иван Сергеевич— эпизодическое лицо, и мы не знаем даже, имел-ли Герцен для него какой либо живой оригинал. Повидимому, это еще художественное Dichtung; Wahrheit начинается со второй главы, в начале которой стоит следующий эпиграф:

E come i gru van cantando lor lai,
Facendo in aer di se lunga riga;
Cosi vid'io venir traendo guai
Ombre portate dalla detta briga... *)

Дант, L'Inferno, c. V.

Эпиграф этот, в переводе и в раздробленном виде встречается в переписке Герцена с Наташей там, где идет речь о Медведевой. О ней сейчас речь пойдет и в повести.

За пять-шесть месяцев до появления Анатоля у Ивана Сергеевича, с последним произошло следующее неожиданное событие: ранним утром его вызвал к себе хорошо знавший его молодой князь, впавший в немилость у Екатерины II и высланный ею в Москву. Действие повести, кстати сказать, происходит в 1791—2 г., „в последние годы прошлого столетия, когда Екатерина,

---

*) „И как журавли летят с криком, образуя в воздухе длинную линию, так увидел я приближавшихся с воплями теней, которых нес этот вихрь“.

солнце этого полного, пышного века, согревшее всю Русь материнской любовью, нежной, женской, склонялась к западу и садилась в красные тучи" (!)... Князь этот был „молодой человек лет 28-ми. Все формы его выражали атлетическую силу тела, так-же, как все черты лица—порывистую душу... Юное лицо летами было старо жизнию; страсти и перевороты оставили в нем резкие следы"... Он призвал к себе Ивана Сергеевича, чтобы просить его о содействии; сперва он рассказывает ему длинную повесть о своих похождениях. Вот исповедь князя.

Его ждала блестящая карьера, сам он мечтал о власти и вкусил отравы ее, но за свою резкость, прямоту и отсутствие низкопоклонничества он впал в немилость у Екатерины, ему было приказано уехать из Петербурга. „Делать было нечего, скрипя зубами отправился я в Москву. Но в Петербурге осталось все мое существование! Слыхали-ли вы о польской генеральше, которой муж был убит после Тарголовской *) конфедерации и которого семейство призрела императрица? Никогда мысль любви не проникала в мою душу, оледенелую от самолюбия. Но дочь этой генеральши—я вам ничего не могу сказать, вы не поймете меня—это Ангел, это—существо выше земных идеалов поэта, это—существо, которое одно могло примирить Тимона с людьми, святое, высокое"... Но князь не говорил ей о своей любви, ибо „не знал, любил-ли ее, не знаю, смелли любить". Он приехал в Москву—и „как бешенный волк, ходил по этим пустым комнатам, перебирая мысли мщения и отворачиваясь от своего бессилия. Надобно было чем-нибудь заглушить обманутое самолюбие, наполнить кипящую страсть деятельности, и мне ничего

*) Здесь очевидная описка: Тарголовская вместо известной Тарговицкой конфедерации (18 мая 1792).

не оставалось, кроме разврата... Я тушил в своей душе все хорошее, все высокое и радовался, что вся Москва говорила о моих затеях; но душа не могла померкнуть так скоро... Иногда, как путеводная звезда, как блестящий Геспер, который так вольно купается, играет в океане восточного света, являлась мысль любви; но бурные тучи страстей закрывали ее. Если-б я знал, что я люблю, что я любим—если-б... но я не знал, а знал, что люди обидели меня, лишили поприща, и хотел мстить им, губя себя в чаду неистовых страстей. Так прошло около двух лет"...

Случайно князь познакомился с одной девушкой, Еленой—«и нашел душу, которую искал, которая поняла меня». Елена жила со старухой-теткой, была угнетена ею и была очень несчастна. «Мне было ее жаль от души. Она со всею доверенностию юности бросилась в мои об'ятия и нашла в них не спасение, а гибель»... И вот уже больше года живет она в подмосковном имении князя; у нея десятимесячный сын Анатоль. «Вся жизнь этой девушки—любовь ко мне, а я... Но нет, ей-Богу! я не виноват; мой пылкий характер, мое сломанное бытие... я увлекся и опомнился — слишком поздно!..» Теперь князь получил прощение императрицы и разрешение вернуться в Петербург ко двору; а тем временем он увиделся с польской генеральшею и ее дочкой. «Один ее взгляд решил мою судьбу. Та—земля, страсть человеческая, эта—небо, страсть божественная, нет, не страсть, страсть—что-то низкое. И я любим ею и через месяц или два я — муж ее. А Елена, Боже, неужели эта душа должна погибнуть?.. Мне следовало-бы сказать ей; но это все равно, что подать стакан яду, а должно быть страшно угрызает совесть убийцу. Двадцать раз решался я намекнуть ей, показать холодность, приготовить—но нет, нет возможности, нет сил, и я играю ролю низкую, подлую, повинуясь какому-то гибельному року»... Князь просит теперь, чтобы Иван Сер-

геевич спас Елену, чтобы взял на себя попечение о ней, когда она все узнает. Иван Сергеевич согласен — и своим простодушным согласием заставляет князя еще более каяться и терзаться: «Фу, как я гадок, низок в собственных глазах!.. И я мечтал о славе! Но виноват-ли я, что вместо крови мне влили огонь в жилы! Не виноват? Я, погибающий, искал спасителя, она явилась мне с любовью, с состраданием, и я погубил ее! Что вы скажете о человеке, который откусит руку, подающую милостыню? Что! Слова нет, как его назвать, потому что тут физическая боль, тут кровь, тут улика. Но искусай, убей нравственно душу благодэтеля, и уголовная палата предаст воле Божией случай его смерти, а тебя освободят от суда и следствия. Кто это сказал, что от поцелуя любви ложной, от обманутой женщины до ножа убийцы один шаг. Кто? А может быть никто и не говорил, но всякий мог бы сказать, потому что это— правда!..» А толпа пошлого провинциального общества радуется мучениям князя: «она воображает, что стянула меня в свою удушливую сферу; нет, любезные, ошиблись! Я пал, глубоко пал в эту пучину, в которой вы сидите с головою, но я все выше вас, хотя и истерзан и преступен... Я знаю, что я должен казаться вам теперь ужасно гнусным, преступным,— а я понимаю, что душа не пала, я готов все, все сделать, чтоб поправить, все возможное!» И князь везет Ивана Сергеевича в подмосковную дачу, к Елене.

Третья глава знакомит нас с Еленой. Это—«женщина лет 22-х, прелестная собою. Густые, темные волосы, зачесанные по тогдашнему вверх, открывали белое, как слоновая кость, чело, темноголубые глаза горели любовью»... Она игреет и возится с своим малюткой, когда приезжают князь и Иван Сергеевич.

Между князем и Еленой происходит длинное объяснение; он говорит, что ему разрешено ехать в Петербург, что он покидает ее, и восклицает в ответ на ее слезы:

— «О, ради Бога, не плачь... Умоляю тебя, мой ангел, моя Елена! Каждая слеза твоя падает растопленным свинцом на мое сердце. Не мучь меня, и так душа моя разбита... Зачем подошла ты так близко к моему существованию! На мне проклятие, я гублю все, приближающееся ко мне. Я, как Анчар, отравляю того, кто вздумает отдохнуть под моею сенью!

— О, я не раскаиваюсь, — перебила она его; — и если в самом деле счастье закатилось для меня, воспоминание минут, в которые я полной чашей пила блаженство, выкупит все последующие страдания. Я и в мраке буду вспоминать солнце, светившее, гревшее меня, но и это не долго...

— Недолго, отчего недолго? — спросил князь, и лицо его побледнело, и он судорожно схватил опахало, лежавшее на диване, и изломал его.

— Оттого, что я умру без твоей любви, — отвечала Елена.

— О женщины, — сказал князь, отирая пот, выступивший на лице его. — Ты верно думаешь о какой-нибудь сопернице. Кто сказал тебе, что я люблю другую?

— Кто? — прошептала Елена, и горькая улыбка мелькнула на устах ее.

— С чего ты взяла, что я перестал любить тебя? Мне надобна деятельность, мне надобна слава, власть, и потому я еду. А ты — ты хочешь на прощание отпустить со мною угрызения совести, ужасную мысль, что я могу быть твоим убийцей, что тень твоя будет являться мне, как тень Банко Макбету серёдь пира, серёдь... — Он остановился»...

Елена успокаивает князя. Она благодарна ему за все прошлое, за любовь его, она благословляет свою судьбу за встречу с князем, который «дунул огнем в ее душу», поднял ее, показал ей жизнь. Елена готова примириться даже с женитьбой князя, — она знает, что на ней он не может жениться; пусть женится он на другой,

лишь-бы он не любил ту, на которой женится... Да и поймет-ли какая-нибудь оранжерейная фрейлина огненную душу князя?

— «Ну, а если поймет? — сказал князь с каким-то сардоническим смехом.

— Тогда Бог не оставит сироту Анатоля. — Князь содрогнулся. Страшная мысль о ее смерти промелькнула снова, как призрак перед его глазами...»

Но все-же дело решено, и изменить его нельзя; они должны расстаться. Князь знакомит с Еленой Ивана Сергеевича и поручает его попечениям Елену и Анатоля.

Далее идет ряд отрывочных сцен, составляющих, по-видимому, четвертую последнюю главу повести. Венчание князя с дочерью польской генеральши. Невеста — «что за поэзия в ее взоре, что за небесное выражение в лице... Что-то воздушное, неземное, отталкивающее всякую нечистую мысль... Боже, какой ангел достается князю». Следующая сцена — Елена лежит в продолжительном обмороке, двое суток не приходит в сознание *); около нея доктор, Иван Сергеевич, горничная. Знаменитый доктор Фрез бессилен со всем своим латинским снадобьем; больше помогает горячая молитва горничной и вспрыскивание «благоявленской водой»... Болезнь осложняется, начинается кровохарканье, и через немного месяцев Елена умирает, оставляя своего полуторагодового Анатоля на попечении Ивана Сергеевича.

А князь между тем «утопал в море наслаждений, счастливый пламенной любовью «ангела-жены» и осуществлением своих самолюбивых мечтаний. Однажды поздно вечером вернулся он из дворца; княгиня уже спала. Он прошел в кабинет, разделся, взял сигару («большая редкость в те времена», — замечает Герцен, который, кстати сказать, постоянно курил сигары), —

*) В письме к Наташе от 22 янв. 1836 г. Герцен рассказывал, что обморок Медведевой продолжался два дня с половиной.

и увидел на столе письмо. Это было письмо от Ивана Сергеевича с извещением о смерти Елены, о том, что она, умирая, все время хотела писать князю, беспрестанно требовала его портрет, пробовала писать и умерла с его именем на устах. В предсмертной записке Елены, измятой и облитой слезами, не было связного смысла, но можно было с трудом разобрать строки: «mes tourments finissent... Merci, Grand Dieu!.. Oh, que je t'aime, mon ange... Hâte-toi de venir, а то опоздаешь, я умру, скоро умру... Qu'il est beau... elle»... Читая письмо и записку, князь был потрясен,—он почувствовал себя убийцей; кровь бросилась ему в голову, озноб охватил тело. «Он решительно ни о чем не думал, душа его была оглушена, а по телу лился яд, хуже синильной кислоты, и тело разлагалось»... Мучительный кошмар охватил его душу. Пробило три часа ночи, на свечах нагорело, — вдруг тихо открывается дверь, и входит Елена, живая, веселая. Князь в восторге бросается к ней, берет ее за руку — и рука остается у него; он хочет поцеловать Елену — и целует ряд оскаленных зубов мертвой головы: «нижняя челюсть щелкала с улыбкой, куски мяса висели на щеках, длинные волосы едва держались на черепе»... Князь в ужасе отскакивает, и голова его со стуком валится на пол, а живая Елена снова стоит перед ним и жалобно молит о любви, о ласковом слове: «зачем отталкиваешь, ведь я твое создание»... Он снова подходит к ней, но тут между ними появляется отвратительный желтый карлик, который помирает от хохота и лает, как собака. Князь в ужасе бежит в комнату жены—«она покоится тихая, небесная, с молитвой на устах», она берет руку князя, хочет поцеловать ее и спрашивает: «что это от твоих рук так пахнет покойником?..» — Мне пить хочется, — говорит князь. «Я принесу» — хохочет карлик и вспрыгивает на постель княгини; князь ударяет его саблей и отсекает голову жены. Карлик хохочет еще громче, подхватывает

голову и подает князю, говоря: «trinken Sie, mein Herr!..» Князь берет голову и начинает пить, обливаясь, теплую кровь... Он очнулся. Свечи потухли, день занимался; князь лежал у себя в кабинете.

В душе князя совершилось нечто непоправимое. «...Прошедшее явилось теперь перед ним требовать отчета, звать на страшный суд; это jury нашей совести, и jury без ошибки *). Теперь не спазматическим сном, а на самом деле повторял он историю своего убийства, и горько, очень горько было ему»... Князь заперся у себя дома; вид его сделался страшен. «Ужаснейшие муки угрызающей совести терзали душу князя»; необ'ятная любовь жены не могла его излечить. «Нет, этого пятна — повторил он — любовь не в силах снять. Это может один Бог; но я первый назвал бы Его несправедливым, если-б Он стер его»... И при этом он так «зверски хохотал», что кровь стыла в жилах жены. А если (замечает Герцен) потрясенный человек вместо того чтобы плакать — хохочет, то душа его сломана, и погибель близка: «этим смехом человек передает свою жизнь и еще более свою вечность — духам темноты и злобы»... И князь все больше и больше впадал в мрачную меланхолию; «слова его были ужасны — какие-то стансы из адской поэмы, писанной желчью на коже содранной с живого человека» (!). Княгиня увезла его в Москву; он стал спокойнее, но не поправлялся, «глаза блистали диким огнем». Жена не отходила от него ни на минуту, все простила ему, молилась и страдала; «она думала, что ея страдания выкупят его преступление».

Однажды книгиня попросила Ивана Сергеевича проводить ее в Новодевичий монастырь и показать там могилу Елены. Они поехали; князь в это время спал, сидя в кресле. Вся в белом вышла из кареты княгиня,

---

*) Сравн. «Дневник» Герцена от 13 авг. 1842 г. (эпиграф к настоящей статье).

подошла к могиле Елены, отколола букет цветов от своей груди и бросила на могилу. «Спи мирно,—сказала она,—цветок бурею сорванный и молнией сожженный. Твоя душа много страдала; покойся-же теперь. О, я любила тебя, любила за твою пламенную любовь к нему; наши души сочувствовали, оне были одинаковы, родные. Я желала видеть тебя, я хотела быть твоим другом,— но приняла ли бы ты мою дружбу и смела ли бы я, счастливая, протянуть руку тебе, несчастной? Елена, я не похитела его у тебя; он был мой, когда буря жизни бросила тебя в его огненное существование; наши души одно неразрывное—может до рождения. Зачем именно ему предалась ты?.. Нет, нет! ты права, Елена, кому-ж другому могла ты отдать такую душу, как не его душе, обширной, глубокой—океану. Ты потонула в этом океане, но ты испытала счастие, а за минуту блаженства разве нельзя отдать дни свои? Покойся же, *там* мы увидимся, там нет раздела, там все любовь, там я и ты свободно будем любить его... Елена, мира пришла я просить у тебя. Может, ты ненавидела меня—помиримся же теперь. И его прости, он мучится, страдает, он несчастен в моих об'ятиях, и я не смею, не примирясь с тобою, утешить его. Его страдания принадлежат тебе, боюсь лишить тебя и их... Но ты любила его, любишь—жизнь твоя там лучше прежней,—пошли же ему утешение. Будем вместе молиться о нем!..» В это время из открытого окна церкви «слабо и невещественно» донесся до могилы стройный хор женских голосов; небольшое облачко, покрывавшее солнце, рассеялось... «Это было (прибавляет автор) 15 июля в вечерни»...

В это самое время проснулся в своем кабинете князь. «В нем произошла какая-то перемена; он чувствовал опять силу и здоровье»... Он вспомнил о своих делах, оделся в мундир, приказал заложить коляску, затем поспешно схватил лист бумаги и стал писать:

Всеподданнейший доклад о преобразовании судопроизводства.

«Судопроизводство, в обширном смысле слова, есть та часть религии, которая обнимает в гражданском быту все отрасли Архитектуры и Епархиального управления.

§ 1. Судопроизводство распадается на две части: на Министерство Юстиции и на Технологический институт. Учреждение Министерства необходимо, но Министром должен быть музыкант и князь. Коллегиальное начало вредно для постройки зданий, но полезно для мостов»...

Пока князь это писал—вернулась с кладбища княгиня. Он указал ей на стул и прибавил: «я о вашем деле говорил с графом, но извините, мне нет секунды свободной»...—«Это было (прибавляет автор) 15 июля после вечерен».

Повесть кончена; к ней прибавлен только небольшой эпилог—«Через десять лет». Князь с обритой головой в белом халате сидит на полу, прикованный цепью к стене. Он беспрестанно все пишет и пишет доклады и проекты на лежащей перед ним бумаге. Княгиня—игуменья Девичьего монастыря; «каждый день она ходит молиться на могилу Елены, чтобы Бог взял ее на небо; молиться о выздоровлении князя она уже перестала»...*)

III.

Познакомившись с повестью Герцена, мы снова можем вернуться к его переписке с Наташей; повесть является ценным комментарием к ряду мест этой переписки.

*) Через несколько лет после настоящей статьи, повесть, «Там!“ появилось полностью во II томе „Полного собрания сочинений и писем А. И. Герцена», ред. М. Лемке.

Наташа получила, наконец, и прочла эту *не-повесть*. «Я читала *Там*, как пришло твое письмо,—пишет она Герцену 24 марта 1838 г.;—Елена была в обмороке, вся душа болела, грудь точно пилили, в глазах темнело. Я положила письмо на тетрадь, прилегла к печати головою. Я не обрадовалась ему, не спешила распечатать, боялась. Потом будто забылась, подняла голову, слезы лились легче, я поцеловала письмо и стала читать его. Теперь окончила повесть. *Как* писано, я не беру на себя судить этого решительно, могу ошибиться; а *что* писано, то мое, и я верно вижу, так оно или нет. За что ты разлюбил эту повесть, не за сумасшествие-ли князя? Много чувств волновало душу, не волновавшие прежде, при чтении этой повести. Ведь и она—письмо-же, только ты не писал такого письма. Долго, долго не буду читать ее, пока отдохну от нее... Когда княгиня просила примиренья Елены на ее могиле, я не выдержала, залилась слезами и бросилась на землю, я благодарила Бога, что могу преклонить колена перед Еленой живой, просить у нее примиренья и руки. Ежели-б я прежде читала эту повесть, может, совсем бы иначе написала письмо к Медведевой. Зачем она у моих ног? Я у ее. Елена прости! Но знай, сколько я виновата перед тобой, столько-же и он. Да, потому что мы одно, одно до рожденья и за могилой; прости же нам эту вину, благослови нас, улыбнись, и эта улыбка—благословение. Александр, я взволнована ужасно, ангел мой, сколько любит тебя Наташа!..“

Через месяц (29 апреля 1838 г.) Наташа написала Медведевой третье письмо—часть его мы привели на предыдущих страницах; в этом письме к живой «Елене» Наташа повторила то, что высказывала теперь своему Александру, что прочла в его «не-повести». Наташа права: это была не повесть, а только громадное письмо Герцена Наташе, тесно входящее в их переписку. Именно потому эта не-повесть и потрясла так Наташу.

«Да зачем же князь сошел с ума?—продолжает в письме к Герцену Наташа:—как не спасли его молитвы ангела? И зачем ангел, сделавшись ближе к Богу, перестал молиться о несчастном? Князь видно, не любил ангела за то, что он не был ангел, а то он не сошел бы с ума, а ангел все продолжал бы молиться. О, конец очень дурен, за него я не стану читать эту, повесть, может, и долго... может, никогда. Александр! нет, буду читать часто, всегда, чтоб делаться выше княгини, сделаться ангелом и не перестать молиться, чтоб князь не сошел с ума»... И Наташа, действительно, возвращалась к этой не-повести, как к искренной исповеди своего Александра. «При первой возможности—писала она ему, спустя две недели (6 апреля 1838 г.)—я бросилась к *Елене* выплакать слезы, прикипевшие к сердцу. Сильно действие ее на меня, ничто *писанное* не проникало так глубоко в душу, а *истина* и *возможность* остального до того растопили сердце, что оно лилось, лилось слезами... и мне стало легче»...

Герцен с болезненным чувством ждал, чтобы Наташа прочла эту «не повесть», эту „тетрадь о моей жизни", как сам он говорил в одном из писем к Кетчеру. „И так, мой ангел, ты прочла *Елену*,—отвечает он Наташе 27 марта 1838 г.:—да, это—исповедь, и исповедь, вырвавшаяся в самую страдательную, болезненную эпоху. Впрочем, *не все-же факт* в ней. Князь немного хуже поступил меня, зато больше и наказан. Окончание прежде было не то (ты можешь видеть по вымаранным листам), но сумасшествие князя было единственным спасением, иначе он был на дороге к самоубийству"... Какое прежде было окончание—это видно из приведенного уже нами краткого изложения повести в „Былом и Думах": там Герцен рассказал окончание повести в таком виде, что князь выздоравливает после молитвы княгини над могилою Елены; очевидно, это и была первая, более ранняя редакция окончания повести, «вы-

маранная» самим Герценом. Он считал этически несправедливым, а потому и художественно недопустимым, чтоб кто бы то ни было, Бог или человек, мог смыть с души князя это пятно вечных угрызений совести; а потому, если Елена умерла, то для князя возможны или сумасшествие, или самоубийство...

Зная это, мы понимаем, что значили для Герцена жизнь или смерть Медведевой; сердце его не вынесло бы гибели человека, когда виною гибели был сам он. „*Там*, представив тебе меня в третьем лице,—писал Герцен Наташе в том же письме,—живо представило всю черноту моего поступка. Признаюсь, в первую минуту, как я читал твое письмо (о „Там“), щеки вспыхнули, и письмо задрожало в руке... Больно стоять преступным перед тобою, ангел, больно потому, что ты не осудишь... Вот в том-то и будет наказание грешнику, что бесконечная благость будет его прощать, а он увидит, что недостоин прощенья. Наташа, что было бы со мною, ежели бы все обстоятельства Елены повторились— даже смерть. И в дополнение—разлука. Холодно, мороз обнимает сердце... О! Наташа, вот я опять черен и грустен, вот чувства, давно забытые, опять сосут душу... Терзайте, терзайте меня, этого требует справедливость высшая, небесное провосудие. О, Наташа! Не слеза— кровь хочет брызнуть. 'Ανάγκη!!“ Несколько лет спустя, уже в новгородской ссылке, Герцен болезненно вспоминал о том, «какие минуты ужаснейших страданий я перенес некогда за Медведеву!» Это было, как видим, не пустой фразой...

В том же ответном письме Наташе про «Елену» (она-же «Там!»), Герцен мимоходом роняет еще несколько интересных для нас строк про свою повесть. Он защищает некоторые частности повести от нападок Наташи. Князь должен был кончить сумасшествием, иначе он кончил бы самоубийством; „что княгиня перестала молиться о *выздоровлении*, из этого не следует, что она

перестала молиться о его душе. Впрочем, я вымарал в том экземпляре, который отправился в Петербург, «Через десять лет». Эти строки наскоро были набросаны, как К(етчер) был здесь. Надобно еще заметить, что в этой повести все пожертовано одному лицу—Елене. Повесть эту читали в Москве, многие бранят свидание князя с Еленой и чрезвычайно хвалят Ивана Сергеевича, который торжествует детской душой над неугомонным князем»... Эти места в переписке Герцена были до сих пор мало понятны; они становятся ясными только после знакомства с этой автобиографической повестью Герцена. Кстати сказать, Герцен упоминает в этом же письме и о двух других повестях, касающихся Медведевой. «*Его Превосходительство* представляет опять Медведеву, но там уже моя роль чиста»... Эта повесть была написана Герценом, но, повидимому, не сохранилась; темой ее является преследование Медведевой вятским сатрапом, губернатором Тюфяевым. «Наконец бродит и третья повесть: ты и Медведева—сестры»... Эта последняя повесть не была написана; но Герцен и Наташа попытались осуществить ее в жизни. Герцен пишет Наташе, пересылает ей письма Медведевой, восклицая: «о, она стоит быть твоей сестрой, выше человека я не могу поставить»; Наташа пишет Медведевой, называет ее своей «дивной сестрой», говорит о «нашей семье»—семье трех—Наташе, Александре и Полине. Всем трем им еще суждено было свидеться, сойтись вместе; об этом последнем действии драмы у нас есть только очень скудные сведения, но и на основании их можно кое-что наметить, кое о чем догадаться. Мы сделаем это—и увидим, какое окончание имела повесть «Елена» (или „Там!“) в самой жизни.

Герцен уехал из Вятки во Владимир на рубеже между 1837 и 1838 гг. Медведева, простившая ему все и сама молившая о прощении у Наташи, осталась в Вятке на попечении Витберга и его семьи. После смерти своего

мужа она осталась с тремя детьми без всяких средств; Герцен еще в январе 1836 г. сделал заем в 1000 р. и отдал эти деньги Медведевой. Но он понимал, что *одни* деньги—оскорбление для любившей и продолжавшей его любить женщины; недаром в «не-повести» Елена, на слова Ивана Сергеевича о «ломбардных билетах», оставленных для нея князем, с гордостью отвечает: «знаете ли вы, кому платят за любовь?» Когда Наташа, два года спустя, предложила Герцену достать десять тысяч рублей и «отдать их детям Медведевой» (письмо от 31 марта 1838 г.), то Герцен отвечал: «насчет денег Медведевой—мысль хороша; но ее не теперь исполнить, после, гораздо после, теперь это ужасно, это в самом деле что-то в роде *отставной любовницы*, а она горда и благородна. Не думай, чтоб я не заботился и прежде об этом, но решил так: одно время может дать право тебе (а не мне!) сделать ей подарок. Почему не найдется человек, который бы ее любил, который бы призвал ее к полной жизни,—она достойна ее, в ней столько поэзии, деликатности, и 26-ой год»... (4 апр. 1838 г.). И через два дня Герцен снова пишет Наташе, что деньги и подарки были бы оскорбительны для Медведевой, но что после свадьбы Герцена и Наташи «может, была бы возможность взять ее к нам; но как бы то ни было, это требует сил нечеловеческих»...

Свадьба Герцена и Наташи состоялась во Владимире 9 мая 1838 года. И хотя присутствие Медведевой требовало,—сам Герцен понимал,—сил нечеловеческих; однако, они решили вызвать Медведеву во Владимир и найти ей там место. Все это время Герцен продолжал чутко и с любовью относиться к Медведевой и дорожить ее мнением, ее словом. Ей первой послал он в Вятку отрывки из своей «поэмы»—драматической фантазии «Лициния». «Прасковье Петровне посылаю отрывок из моей поэмы, которая сама есть отрывок из меня самого, а я отрывок человечества, а человечество—вселенной»,—

пишет Герцен Витбергу 8 декабря 1838 года. «С нетерпением ожидаю прочесть,—отвечает Витберг:—присланное к Прасковье Петровне еще не показано мне» (3 янв. 1839 г.). Настолько ценил Герцен «поэтическую натуру» Медведевой, что ей первой послал он свою поэму, а не своему ближайшему вятскому другу и «вожатому»—Витбергу. Герцен сделал также все возможное, чтобы устроить дальнейшую жизнь Медведевой; он вызвал ее из Вятки во Владимир. В июне 1839 года он послал Медведевой 500 рублей на дорогу; 11-го июля Витберг писал Герцену: «после-завтра выезжеет Прасковья Петровна—никак не могла прежде собраться, хлопот много, надо сколько-нибудь прилично одеть детей и прочее»... «Я чувствую вполне—прибавлял Витберг в другом письме (от 22 авг. 1839 г.)—всю трудность ее положения, и мы все сердечно скорбим о ней. Дай Бог ей сколько-нибудь утешения, крепость сил—до лучшего»...

Итак, в середине июля 1839 года Медведева прибыла во Владимир. Как встретились трое героев «неповести» Герцена, исполнила-ли Наташа обещания, когда-то данные своей «дивной сестре»—ничего этого мы не знаем; можно только предполагать, что встреча вышла неловкая, натянутая, неудачная,—по крайней мере Медведева очень скоро покинула Владимир. Герцен устроил было ее в семье владимирского губернатора Куруты, вероятно, в роли компаньонки, гувернантки или чего-нибудь в этом роде, но она почему-то скоро должна была оставить это место. «Да как же вы не сообразили прежде?»—писал Герцену (17 октября 1839 г.) Витберг, очевидно знавший, в чем тут дело. Эти-ли неизвестные нам причины, или тяжесть и неловкость совместной жизни во Владимире побудили Герцена устроить переезд Медведевой из Владимира в Москву. Переехав туда осенью 1839 года, Медведева, повидимому временно, поселилась в доме отца Герцена, Ивана Алексеевича

Яковлева. Герцен старался найти ей в Москве какое-либо место, но неудачно, и он, в слегка раздраженном тоне, писал об этом Витбергу: «не вините меня на счет Медведевой—вина ее, она решительно не имеет таланта пользоваться настоящим. Так, в Москве она пропустила уж одно место. Готов все делать для нее, но je m'en lave les mains pour les suites et résultats. «Сам возраст имашь», как вы говорите» (1 ноября 1839 г.). В августе-сентябре 1839 года Герцен на короткое время проехал в Москву, и между прочим хлопотал там о месте для Медведевой, что видно из его писем к Ю. Ф. Куруте (жене владимирского губернатора). «Несколько добрых знакомых—писал Герцен Ю. Куруте 26 авг. 1839 г.—обещались достать ей (Прасковье Петровне) место, но я к ней тогда напишу, когда наверное узнаю»... Через несколько дней Герцен сообщал, что «дело Прасковьи Петровны (которое как гангрена терзало меня) приводится к концу: m-me Жарнье решается взять ее с детьми».. Но, повидимому, и эта попытка устроить Медведеву какой-нибудь классной дамой «в домашнем пансионе» не удалась: в декабре 1839 года Герцен снова поехал в Москву и Петербург, проездом, несомненно, виделся с Медведевой и писал Витбергу (7 марта 1840 г.) о своих неудачах по устройству ее дел. К сожалению, редакция «Русской Старины», где в 1876 году были напечатаны эти письма Герцена к Витбергу, сочла нужным «опустить подробности», касающиеся Медведевой.

Здесь кончается все то, что мы знаем о судьбе Медведевой. Несомненно, что она осталась жить в Москве; несомненно, что Герцен не терял ее из виду, помогал ей; но в жизни его она не играла больше никакой роли. Кое-кто из знакомых Герцена знал ее—Татьяна Пассек, К. И. Зоненберг; по крайней мере в одном из писем 1859 г. Марко-Вовчку Герцен приписывает сбоку: «если Тат. Петр. (Пассек) у вас близко, скажите ей, что я

получил письмо от Зоненберга (!) и что Медведева умерла—это вятская дама Р в «Былое и Думы»...(27 июля 1859 г.; см. «Былое», 1907 г., №10, стр. 65). Причем тут Зоненберг, и почему при имени его Герцен ставит восклицательный знак—это можно узнать из последних строк XXI главы «Былого и Дум»...

Уезжая в 1847 году за-границу, Герцен, повидимому, поручил заботу о Медведевой своему брату, Егору Ивановичу Герцену; когда в середине пятидесятых годов Медведева умерла, то—пишет Герцен в «Былом и Думах»—«мой брат ее похоронил *в Новодевичьем монастыре!*».. Мог-ли думать Герцен, что он окажется пророком, когда в своей вятской «не-повести» поместил в Новодевичьем Московском монастыре могилу Елены! Так выполнила жизнь автобиографическую фантазию Герцена хоть в одной частности; в целом же жизнь, как это всегда бывает, превзошла все домыслы художника. Елена из романической «не-повести» Герцена красиво и быстро умирает, брошенная своим возлюбленным; Елена живая, реальная—Медведева—еще двадцать лет влачит свою жизнь, служа где-нибудь в компаньонках или классных дамах у m-me Жарнье... По воспоминанию М. К. Рейхель (сообщенному ею мне в Лозанне весною 1912 года)—Медведева в последние годы жизни служила экономкою в доме Егора, брата Александра Герцена...

Но мы не знаем точно позднейшей судьбы этой живой Елены—так лучше: в памяти нашей она остается грустным и поэтическим видением, мелькнувшим мгновенно в жизни Герцена и вскоре пропавшим из вида. За мимолетное увлечение Герцен поплатился тяжелой и долгой душевной мукой; спастись от нее он думал, казня себя—хотя бы в повести. Повесть вышла слабая, напыщенно-романтическая, нехудожественная; но она интересна для нас именно как «не-повесть», как правдивый рассказ о маленьком романе и больших угрызениях со-

вести; она интересна, как попытка обрисовать поэтический облик женщины, о которой мы так мало знаем, которой посвящены грустные и нежные страницы в «Былом и Думах», которая так сильно любила Герцена и так грустно простила ему...

1912.

Герцен и Михайловский.

(Сравнительная характеристика).

I.

Н. К. Михайловский был последний из могикан в славном ряду представителей русской публицистики и критики второй половины минувшего века. Он был последним, но не наимение ярким; наоборот, на сравнительно тусклом фоне семидесятых и восьмидесятых годов он выступает более рельефно, чем его замечательные предшественники на ярком фоне бурной и сравнительно светлой „эпохи великих реформ“. Со своими предшественниками, деятелями этой эпохи, он связан неразрывно; его имя навеки связано с плеядой—Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Писарев—и связано не только по времени, не только формально. Когда-то Михайловский говорил о славянофилах и полузабытом теперь почвеннике Н. Страхове: «попробуйте сказать под ряд: Киреевские, Аксаковы, Юрий Самарин, Страхов... На имени Страхова непременно запнетесь» [1]... Это же самое, mutatis mutandis, можно повторить о самом Михайловском: попробуйте сказать под ряд: Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Лавров—и вы невольно прибавите: и Михайловский.

Я не собираюсь теперь останавливаться на обосновании преемственной связи этих незабвенных деятелей

[1]) Собр. соч., изд. 1906—7 гг., т. V, стр. 900.

развивающегося русского самосознания, что сделано мною в другом месте [2]); но хотелось бы отметить взаимоотношение двух крайних имен этого ряда, указать на тесную связь мировоззрений Герцена и Михайловского. Этим мы не хотим сказать, что с промежуточными членами ряда Михайловский связан менее тесно; нельзя оспаривать (да этого не оспаривал и сам Михайловский), что политико-экономические воззрения Чернышевского оказали свою долю влияния при выработке Михайловским своего мировоззрения, что эстетические теории Добролюбова привзошли сюда, конечно переработанными, что индивидуализм Михайловского получил не один импульс от «культа личности» Писарева,—такого преемственного влияния странно было бы не признать. Все это так, но тем менее можно отрицать влияние, быть может, наиболее яркого, наиболее талантливого из всех предшественников Михайловского—гениального родоначальника народничества—А. И. Герцена.

С Герценом мы еще мало знакомы. Обидная бедность монографий о нем могла быть об'яснена исключительно независящими от литературы условиями и обстоятельствами. По этому, например, сравнительно мало затронут вопрос о народничестве Герцена, хотя неоспоримо утвержден тот факт, что именно Герцен является первым основателем народничества: это уже locus topicus, мало исследованный, но единогласно принимаемый. Однако il y a fâgots et fâgots, есть народничество и народничество; народниками были и Герцен, и Чернышевский, и Юзов-Каблиц, и г. В. В., и «Отечественные Записки» и «Неделя», и наконец сам Михайловский, отнюдь не признававший себя народником—и несомнено бывший им. Народничество—течение чрезвычайно сложное и многостороннее; оно является и идеологией кающихся дворян, и своеобразным синтезом западничества и сла-

---

[2]) См. «Историю русской общественной мысли».

вянофильства; оно принимает формы то фурьеризма (у Чернышевского), то толстовства; наконец, оно так сравнительно близко от нас, что аберрация исторического зрения является отчасти неустранимой. В этом вся трудность вопроса; но мы и не беремся здесь за его решение:—мы ограничиваем нашу задачу сравнительной характеристикой первого и последнего народника. Герцен был действительно первым по времени, Михайловский был действительно последним по занятому положению: его народничество—критическое (термин этот давно уже установился за народничеством Михайловского), и критицизм этот составил тот рубикон, через который не могло перейти наивное народничество Юзова-Каблица и «Недели» 80-х годов. Но это между прочим; вообще же мы хотим указать на связь мировоззрений двух титанов русской мысли и сознания.

II.

Начнем с Герцена. В чем Standpunct его мировоззрения—толковалось различно, на многие лады. Мы хотим обратить внимание на ту сторону его взглядов, которая неизменно присутствует во все периоды жизни Герцена, составляет главную причину социологических построений, один из поводов ненависти к экономическому строю Западной Европы. Сам Герцен ввел новое слово для определения этого центрального из его понятий; слово это—мещанство.

Слово это не ново, но понятие, выраженное им, было в то время новым в русской литературе. Конечно, понятие это имеет не сословный смысл; это не перевод и не замена термина «bourgeoisie», смысл которого зиждется на экономической почве. Буржуазия—прежде всего третье сословие; далее, это общественный

класс, об'единенный понятием ренты в том или ином ее виде [3]); фритредерство—экономическая идеология развившейся буржуазии; свобода конкуренции—символ ее веры. Совершенно другое значение имеет введенный Герценом термин «мещанство» (говорим «введенный Герценом», так как только у него мы впервые встречаем подробное и точное определение этого понятия); буржуазия есть только частный его случай.

Прежде всего мещанство—понятие внесословное, например, такое же, как и интеллигенция; так же, как и интеллигенция, мещанство характеризуется своим отношением к наиболее жгучим вопросам жизни. Реагируя на них, мещанство оказывается безличным, узким и плоским. «С мещанством стираются личности... но стертые люди сытее», иронизирует Герцен [4]). При наличности мещанства «душа убывает», характеризует он мещанство в другом месте: когда мещанство торжествует, то «все мельчает, становится дюжинное, рядское, стертое» [5]). Буржуазия—это центр мещанства, но мещанство—шире: эта общая безличность, эта общая узость понятий и плоскость чувствований переступила сословную черту и разлилась широким потоком по всей Европе; в чинной и узкой среде мещанства все вянет, все засыхает. «Чинный—это настоящее слово. У мещанства, как у Молчалина, два таланта—и те же самые: умеренность и аккуратность». И это внесословное мещанство поглощает все: «мещанство—идеал, к которому стремится, подымается Европа со всех точек дна» [6]).

[3]) Под «рентой», в условно-широком смысле мы понимаем и собственно ренту и прибыль, т.-е. доход землевладельцев и доход предпринимателей.

[4]) «Концы и Начала». Письмо первое («Колокол», 1 июля 1862 г.).

[5]) «Книга Дж. Ст. Милля о свободе» («Колокол», 15 апреля 1859 г.).

[6]) «Концы и Начала». Письмо первое («Колокол», 1 июля 1862 г.).

И как ни грустно, но надо думать, полагает Герцен, что это мещанство победит и должно победить, ибо «мещанство—окончательная форма западной цивилизации, ее совершеннолетие» [7]).

Не будем обращать пока внимания на то, что мещанство приурочивается Герценом исключительно к западной цивилизации, к западной Европе; как все это приложится к России—мы увидим ниже, теперь же нам важно обратить внимание на широкий смысл этого термина. Мещанство—не сословный термин; это вообще воплощение безличности, узости и плоскости. Мещанство—это aurea mediocritas («сплоченная посредственность», повторяет Герцен слова Милля), посредственность, лишенная индивидуальности, приспособившаяся к жизни, с'узившая свои интересы до пределов возможного. При господстве мещанства—«в сильно обозначенных личностях, в оригинальных умах нет никакой необходимости», горько иронизирует Герцен: «красота, талант—вовсе ненормальны. Это исключение, роскошь природы.. (но и) в самой природе, можно сказать бездна мещанского» [8]). И среди этой мещанской природы человек теряет свою индивидуальность, как теряются брызги водопада в общем потоке; люди становятся «чем-то гуртовым, оптовым, дюжинным, дешевле, плоше врозь, но многочисленнее и сильнее в массе» [9]).

III.

Остановимся на минуту и обратимся к Михайловскому. Прежде всего придется констатировать, что тер-

[7]) «Концы и Начала». Письмо седьмое («Колокол», 15 января 1863 г.). Об этом же см. «С того берега»; «Западныя арабески», «Былое и Думы», напр. ч. II, стр. 366—367.

[8]) «Концы и Начала». Письмо первое («Колокол», 1 июля 1862 г.). Подчеркнуто нами.

[9]) «Концы и Начала». Письмо седьмое («Колокол», 15 января 1863 г.).

мин «мещанство» не имеет у Михайловского того широкого смысла, какой был придан ему Герценом; слово мещанство равнозначно у Михайловского слову буржуазия. Но дело не в словах, а в понятиях; понятие же «мещанства» (в смысле, встречавшемся у Герцена) мы без труда найдем в теории идеальных и практических типов, построенной Михайловским под влиянием Снелля и Геккеля. Пути были различны—результаты оказались тожественны: все дороги ведут в Рим.

«В самой природе, можно сказать, бездна мещанского», сказал Герцен,—и эту мельком брошенную фразу Михайловский развивает при определении своего отношения к дарвинизму. Дарвин для него—«гениальный буржуа-натуралист»; дарвинизм, в его социологическом применении, глубоко мещанская теория [10]), и философия природы по концепции дарвинизма является почти сплошным мещанством, ибо «стертость» личностей, отсутствие резко выраженных индивидуальностей почти возводится в научной принцип; выживают не наиболее одаренные индивиды, но наиболее приспособленные к среде (и в этом смысле наиболее одаренные); «сплоченния посредственность» губит все, что так или иначе выходит из нормы. Так, или почти так, формулирует Михайловский свои обвинения против мещанства дарвинистической теории в ее социологическом применении [11]); особенно наглядно выступает все это в заимствованной им у Снелля и Геккеля теории идеальных и практических типов.

В узко-биологическом смысле идеальный тип есть тип политропный, многосторонний, а по этому и не приспособившийся ни к каким специальным условиям

---

[10]) Собр. Сочин., V, 635; см. также I, 416—7, 421—2, 914 III, 774 и др.

[11]) Ibid., I. 293—4.

и именно потому способный к дальнейшей эволюции[12]); тип практический, наоборот, монотропен, односторонен, но зато окончательно приспособлен к условиям жизни и вне их существовать не может[13]); разумеется, между этими двумя категораями существуют переходные степени[14]). Михайловский согласен принять эту схему, как морфологический принцип; но он не может примириться с введением этого принципа, как нормы, в социлогическия строения, и признать, что практический тип, как приспособленный, стоит выше неприспособленного идеального типа. Практический тип—это мещанство, во всей его безличности, узости и плоскости, во всей приспособленности к условиям экономической и социальной жизни. Пусть «в природе бездна мещанского», пусть практические типы одерживают победу по всей линии над широкими, синтетическими, идеальными типами: тем менее Михайловский склонен примириться с представителями практического типа — с мещанами, заполнившими жизнь. Мещанин—это не личность, это «осколок личности»; это практический тип, который приспособляется «ко всякой обстановке как бы она ни была узка и душна» в то время как идеальный тип (т.-е. то, что Герцен иногда в отличие от мещанина называет «индивидуалистом») является полным, многосторонним и неумещающимся в тесных рамках[15]). Не

---

[12]) Ibid., I, 230, 282.

[13]) Idid., I, 230; см. также IV, 458—460.

[14]) Ibid., I, 279. Примеры: практический тип—летучая мышь, рыбы (Teleostei); идеальный тип—поперечноротые (Selachia), см. I, 230.

[15]) Ibid., IV, 458—460. Особенно ясно можно усмотреть тождество понятий «мещанства» (по Герцену) и «практического типа» (по Михайловскому) в «Письмах о правде и неправде» (1877 г.), откуда и предыдущая цитата. Понятна связь всего этого с теорией типов и степеней развития (см. Ibid., I, 477, 511; III, 820, 868; см. еще I. 478; III, 499—500, 527—9,

трудно усмотреть почти полное тождество между понятиями «мещанства» и «практического типа» у Герцена и Михайловского. «Практический тип», как биологический термин, в своем социологическом применении весьма удачно поясняет недостаточно определенное у Герцена понятие мещанства; оба эти понятия играют весьма существенную роль в мировоззрениях обоих наших народников. Впрочем об этом ниже.

Одинаковым отношением Герцена и Михайловского к мещанству об'ясняется и почти тожественное отношение их к науке. Это частный вопрос, на котором мы не будем останавливаться; но нельзя не отметить, что синтез между «дилетантизмом» и «буддизмом» в науке, желаемый и ожидаемый Герценом, есть именно точка зрения «профана» у Михайловского. «Профан»— это представитель идеального типа, широкий, многосторонний человек, которому одинаково чужды и мещанская узость специалиста и мещанская плоскость дилетанта [16]). Специалист и буддист из-за деревьев не видят леса, дилетант — в лесу не желает и не умеет различать отдельных деревьев: «дилетанты смотрят в телескоп... ученые (специалисты) смотрят в микроскоп»[17]);— профан пользуется и микроскопом и телескопом, но хочет смотреть на жизнь простыми глазами: он высоко чтит науку, но думает, что вычерпать море ретортой нельзя [18]) Одним словом, и Герцен, и Михайловский одинаково восстают против «мещанства» в науке, в том или ином его виде [19]).

567—571; V, 925 и др.): «практический тип» может быть относительно выше идеального по степени развития, будучи ниже его—по типу.

[16]) Ibid., III., 354.

[17]) Герцен, «Дилетантизм в науке». «Отеч. Зап.» 1843.

[18]) Михайловский, «Литер. Воспом.», т. I, 268; о специализации.—Собр. Соч. I, 398—400; V, 72—77 и др.

[19]) Не говорим о мещанстве в искусстве из-за полнейшей суб'ективности этого понятия: и Герцен и Михайловский склон-

Но это только между прочим: это частный вопрос в мировоззрениях Герцена и Михайловского. Отношение их к мещанству привело к гораздо более крупным и более значительным результатам; оно послужило у Герцена первым побудительным толчком к созданию той теории народничества, гениальным родоначальником который был именно он.

IV.

Герцен попал в Европу накануне февральской революции. Революция эта была кровавой битвой демократии с мещанством — с буржуазией; окончательная и решительная победа последней в лице Кавеньяка была в сущности пирровой победой... Это нам ясно теперь— но не могло быть ясным Герцену в то время. Мы теперь знаем, что 1848 год—год появления знаменитого манифеста—был не годом похорон, а годом рождения злейшего врага буржуазии и мещанства; и если умер социализм утопический, то родился наиболее опасный для мещанства западной Европы—социализм реальный [20].

ны были видеть мещанство там, где лежали их антипатии. Так, Михайловский видел мещанство (или по крайней мере результат мещанства) в так называемом «декадентстве», — см. «Литер. Воспом.» т. II, гл. I—III; Герцен приблизительно так же относился к «декадентству» своей эпохи — к музыке Вагнера, как можно видеть из одного его отзыва («Колок.», 1 июля 1862 г.); впрочем, по его мнению, все искусство в Европе XIX века—сугубо мещанское. См. «Концы и Начала», письмо первое.

[20]) Мы нисколько не утверждаем, что в самом социализме не может быть элементов мещанства. При широком распространении и вульгаризации его, мещанство фатально в него проникает и «мещанский социализм» фактически не есть, к сожалению, contradictio in adjecto.

Но чтобы убедиться в этом, надо было взглянуть на пол-века вперед; события же 1848 и 1852 гг. не могли в этом отношении служить благоприятными предзнаменованиями. Февральская революция встряхнула болото мещанства; но 1848 год покончил с «утопизмом» надолго... если не навсегда [21]); Европа снова погрязла в мещанстве—и нет основания утешаться мыслью, что такое положение вещей можно изменить. Так думал тогда Герцен—и написал свою гениальную книгу «С того берега».

С этой книги может вести свою эру народничество, так как мы находим в этом произведении не только отрицательную сторону—беспощадную критику западно-европейского мещанства, но и указания на положительные идеалы—веру в возможность иного, не мещанского пути развития для России.

В Европе мещанство окончательно победило. «Мещанские вопросы—это ordre du jour, само мещанство—грозная могучая сила». И мещанство это — не только буржуазия, не только представители ренты и проприетеры; нет, весь западно-европейский мир, от дна до вершин, является мещанским: «с одной стороны мещане-собственники, упорно отказывающиеся поступиться своими монополиями, с другой—неимущие мещане, которые хотят вырвать из рук их достояние, но не имеют силы» [22]). И все это происходит на гнетущем фоне подавления личности, всеобщей узости идеалов и плоскости взглядов. Все облетело, все приняло узкие формы. Христианство успокоилось в покойной гавани реформации, революция 1789 года — в болоте умеренного политического и экономического либерализма; кумир личной собствен-

[21]) См. главным образом — «С того берега», а также цитированные выше письма «Концы и Начала» — письмо 7-е («Колок.», 15 янв. 1863 г.).

[22]) «Западные арабески» и «С того берега», особенно см. стр. 1—9.

ности привел к всеобщему мещанству, ибо «мещанство—последнее слово цивилизации, основанной на безусловном самодержавии собственности»[23]). Все это горько высказывать о западной Европе, к которой идеалист 30—40х годов относился с таким теплым, любовным чувством надежды; но, говорит Герцен,—«amicus Plato, sed magis amica veritas». «Европа нам нужна как идеал, как упрек, как благой пример; если она не такая—ее надо выдумать», перефразирует он знаменитые слова Вольтера [24]); но мещанство не может служить ни примером, ни идеалом.

Неужели это общий закон истории:—мещанство есть окончательная форма цивилизации? Да,—отвечает Герцен в «С того берега» и в других произведениях:—как это ни претит, а приходится сознаться, «что все реки истории (по крайней мере все западные) текут в мареммы мещанства» [25]). А мещанство — это смерть общества, начало его разложения. «Мир, в котором мы живем — умирает..., никакие лекарства не действуют больше на обветшалое тело его.. » [26]). И только одна надежда не покидает Герцена—надежда на возможность особого экономического и социального пути развития России, и в этом—начало его народничества.

Мы не будем останавливаться на вопросе, насколько это народничество является со стороны Герцена приближением к славянофильству; сам Герцен склонен был смотреть на свое воззрение, как на синтез славянофильства и западничества [27]). Для нас интереснее взглянуть

---

[23]) «Концы и Начала», письма 7-е и 1-е («Колок.», 15 янв. 1863 года и 1 июля 1862 г.).

[24]) «Колокол», 15 апр. 1859 г.

[25]) «Письмо из Неаполя», 5 окт. 1863 г.

[26]) «С того берега», стр. 7.

[27]) См. особенно некролог К. Аксакова («Колок.», 15 янв. 1861 года); также интересную сценку «Русские в Париже» и ряд статей в «Колок.», окт.—дек. 1859 г. под общим заглавием

на вопрос с другой стороны и найти положительную основу народничества, как анти-мещанской теории.

V.

При построении своих социологических концепций Михайловский как-то выразился, что «социология должна начать с некоторой утопии» [28]). С «утопии» начал и Герцен, веря, что не все «реки истории» текут в болота мещанства: он сделал исключение для восточных рек, как мы это видели выше. Это была вера в девственные, незараженные мещанством силы русского народа, вера в «крестьянский тулуп», как говорил потом Тургенев, вера «в обновление Европы посредством кнута и насильственного смешения европейской и калмыцкой крови», как иронизировал К. Маркс (в I томе первого издания «Капитала»). Пусть противники Герцена оказались правы, пусть не было суждено русскому народу «обновить Европу» своим анти-мещанством; пусть совершенно наоборот, «крестьянский тулуп» оказался, по предвидению Тургенева, наиболее мещанским, быть может, во всей Европе (это наглядно доказало постепенное увядание общины, рост денежного хозяйства, появление Колупаевых и Разуваевых en masse в 70-х годах [29]), — все это совершенно нельзя ставить в пассив мировоззрению Герцена. Дело не в этих теорети-

---

«Русские немцы и немецкие русские» (Об этих статьях — см. ниже). Серединное положение, занятое Герценом между славянофилами и западниками, указывается в статье «Нас упрекают» («Колок.»), 1 янв. 1858 г.).

[28]) Собр. сочин. III, 404.

[29]) Это впоследствии сознал и Герцен: «идеал народа—буржуазное довольство», сказал он в «Письмах к старому товарищу» (1869 г.). См. «Сборник посмертных статей» Герцена.

ческих ошибках утопизма, а в том громадном практическом значении, какое имело воззрение Герцена в созидательную эпоху шестидесятых годов. Значение «Колокола»—общеизвестно; роль его в деле освобождения крестьян — огромна: мы знаем, что статьи этого журнала принимались во внимание в коммиссиях, что номера его лежали на столе Ростовцева, что их читал сам Александр II. А проповедь «Колокола», стремясь к проведению анти-мещанских взглядов, была направлена (в области экономических вопросов) против либерализма и за освобождение крестьян с землей. К слову сказать, реформа была произведена далеко не в том об'еме, на котором настаивал Герцен; а он заранее отклонял от себя упрек в возможных последствиях неполной реформы: он предвидел обезземеленье крестьян, рост денежного хозяйства — и торжество теорий экономического либерализма.

Либерализм (политический и экономический) был для Герцена тем bête noire, на которого было постоянно направлено его внимание. Либерализм этот, с точки зрения Герцена, только частное выражение общего факта—мещанства. У «западных доктринеров» и их российских последователей (Герцен говорит главным образом о Б. Чичерине) можно найти только рубрики, трафаретки и шаблоны, веру во французскую централизацию и во всесилие немецкой Schul-Wissenschaft[30]). С этими «западными старообрядцами» Герцен не желает иметь ничего общего; «мы—ж и в ы е», подчеркивает он, «т.-е. изменяющиеся течением времени», либерализм же просто — засушенное мещанство: он привык к рубрикам и к шаблону; он провозгласил в Европе всеобщее п р а в о н а т р у д, свободу конкуренции — и сопровождает все это refrain'ом—laissez faire,

---

[30]) «Русские немцы и немецкие русские» («Колок.,» 15 окт. 1859 г.).

laissez passer! И в то время, когда, казалось, либерализм окончательно восторжествовал, когда потоки крови 1848 года окончательно залили молодое растение утопизма на мещанской почве Запада,—вдруг на варварском востоке резко ставится вопрос об освобождении крестьян с землей, об общинном владении![31]). Понятно отношение Герцена к этому, как ему казалось, ярко анти-мещанскому факту; теперь для Герцена—ex Oriente lux! На Западе, иронизирует Герцен, либерализм додумался до права каждого на работу; в России же, даже во время крепостного права, каждый мужик был убежден в праве каждого на даровую землю, что дает и самую возможность работы. «Мы господские, а земля наша», приводит Герцен характерную крестьянскую пословицу [32]). Итак, община, по мнению Герцена, является удовлетворительным решением вопроса, избавляющим Россию от западного доктринерства и мещанства; однако, в противоположность славянофильству, Герцен не считает возможным обойтись без животворящей мысли западной науки. Возможность не мещанского развития России—не утопия, говорит он: «элементы основания у нас даны: народный русский быт и наука Запада... Без предрасположенного народного быта—общественная наука теряется в социальном бреде; без всеобобщающей науки—народный русский быт возводится в бред славянофильства» [33]). Этот народный русский быт и дает возможность России пойти своим особым экономическим путем и избежать мещанства Европы: «я не считаю мещанство окончательной формой русского устройства», говорит Герцен, «того устройства, к которому Россия

---

[31]) Ib («Колок.», 15 дек. 1859 г.).
[32]) Ib. («Колок.», 15 дек. 1859 г.).
[33]) Передовая статья («Колок.», 1 янв. 1864 г.).

стремится и достигая которого она, может, пройдет мещанской полосой» [34]).

Вот народничество Герцена. Это прежде всего—вера в небуржуазность «крестьянского тулупа», т. е. народа; во вторых—это принятие краеугольным камнем общинного устройства, а потому, в-третьих, и борьба с экономическим либерализмом, с фритредерством; наконец, как следствие из всего этого, народничество Герцена—это вера в возможность особого пути развития России, на котором можно будет избежать мещанства, как окончательной формы устройства. Эти основные моменты остались в русском народничестве во всех его различных проявлениях; менялась только точка зрения на то, что считать центром системы; менялась мотивировка, менялись доказательства—у Герцена, Чернышевского, Михайловского и у других представителей народничества. Мы обратимся прямо к Михайловскому, так как в его критическом народничестве 70-х годов наиболее ясно сказались следствия изменения экономического строя России к тому времени; поэтому особенно поучительно сравнить именно это критическое народничество с доверчивым и отчасти утопичным народничеством Герцена.

VI.

Играет ли в народничестве и вообще в мировоззрении Михайловского такую же важную (хотя и чисто отрицательную) роль понятие „мещанства", как это мы видели у Герцена? Конечно, нет. „Практические типы" занимают в построениях Михайловского второстепенное, служебное положение; и хотя, благодаря общей гармоничности его мировоззрения, теорию прак-

---

[34]) «Концы и Начала», письмо 8-ое («Колок.», 15 февр. 1863 г.).

тических и идеальных типов легко связать с теорией прогресса и теорией борьбы за индивидуальность, а значит и со всеми главными сторонами воззрений Михайловского, но тем не менее поставить во главу угла теорию практических типов можно было бы только с большой натяжкой. Отрицательное отношение Михайловского к „практическим типам" так же несомненно, как отрицательное отношение Герцена к мещанству; но у Герцена на этом отрицании строится целая анти-мещанская система, Михайловский же обращает все свое внимание на „идеальный тип" и строит все свое мировоззрение, исходя из некоторых положительных данных и предпосылок. Иначе говоря—при наличности одинаковых симпатий и антипатий, основная точка зрения Михайловского полярна по отношению к исходной точке зрения Герцена; хотя и у Михайловского есть понятие мещанства (практический тип), но он предпочитает оперировать с полярным ему понятием идеального типа, основу которого составляют черты, диаметрально противоположные мещанству, именно—сильно развитая индивидуальность, при наличности возможной широты и наиболее глубокого отношения к окружающим формам жизни. Таким образом, во главу угла мировоззрения Михайловского ставится понятие личности, и самое его народничество получает надлежащее освещение только при свете этого понятия; мировоззрение Михайловского является индивидуализмом, в том смысле, какой всегда придавался этому слову самим Михайловским—в смысле течения, ставящего на первый план интересы реальной личности, при уверенности, что интересы эти тождественны интересам целого народа. Мы, впрочем, еще встретимся с термином „индивидуализм" в понимании Михайловского.

Итак, понятие личности играет у Михайловского ту самую роль, какую у Герцена имело понятие анти-ме-

щанства; пути у них были несколько разные, но они снова привели их в Рим—и этим Римом было одинаковое отношение к общине и вера в особый путь развития России: все это вытекает из принципа личности у Михайловского не менее последовательно, чем вытекало в свое время из анти-мещанства Герцена. Интересы личности служат для Михайловского социологическим и общественным критерием; особенно ярко и наглядно высказан им этот взгляд в знаменитых „Письмах о правде и неправде“ (1877 г.). Интересы личности являются мерилом достоинства всякого союза, пусть то будет семья, партия, нация и проч., но личности „разумеется не практического типа“, добавляет сейчас же Михайловский [35]), подходя таким образом к анти-мещанству Герцена. „Единицей меры при определении относительного значения различных форм общежития может быть только человеческая личность“, повторяет Михайловский в другом месте [36]): „отказываясь стать на единственно плодотворную точку зрения личного начала, мы запутаемся в противоречиях“ [37])... И мысль эта не была случайной гостьей в гармоническом миросозерцании Михайловского; десятью годами позднее он повторяет ее же в интересном кратком resumé всего своего образа мыслей (в ответе г. Яковенко): „человеческая личность, ее судьбы, ее интересы,—вот что́, повидимому, должно быть поставлено во главу угла нашей теоретической мысли в области общественных вопросов и нашей практической деятельности. Оно так и есть“ [38]).

Каким образом из этого ярко индивидуалистического принципа могло вырасти критическое народничество—

---

35) Собр. сочин., IV, 460.
36) Ibid., VI, 300—301.
37) Ibid., VI, 304.
38) Ibid., VI, 487.

это об'ясняет сам Михайловский, доказывая [39]), что интересы личности тождественны интересам труда, а значит и интересам главного представителя труда— народа, т.-е. всех трудящихся классов общества [40]). Труд есть такой аттрибут личности, который „не зависит ни от каких случайных определений“, это—единственное проявление личности, как таковой; при дальнейшем же „разотвлечении“ (термин Михайловского) интересы труда превращаются в интересы всего трудящегося люда, в интересы народа [41]). Таким образом в основании теории Михайловского мы имеем двуединый критерий интересов личности (как идеального типа) и интересов народа [42]), и таким путем индивидуализм Михайловского является фундаментом его народничества, обращающего главное внимание на и н т е р е с ы народа, а не на его м н е н и я (чтó и составляет один из признаков народничества критического). Каким образом произошло отождествление понятия личности и мужика, как главного представителя труда—это Михайловский впоследствии пытался об'яснить самим характером реформ шестидесятых годов, а именно тем, что крестьянская реформа в то время оставляла в тени все остальные [43]); несомненно, отчасти и это, но несомненно также, что критическое народничество 70-х годов явилось отчасти идеологией „кающегося дворянства“, и Михайловский является одним из представителей этой группы.

---

[39]) Ibid., IV, 461; V, 537, 778; VI, 301—304, 487—492 и др.
[40]) Ibid., III, 277; VI, 392 и др.
[41]) Ibid., VI, 489—491.
[42]) См. мою статью о центральном пункте мировоззрения Михайловского (в сборнике „Литература и общественность“).
[43]) „Литерат. воспом.“, т. I, 610.

VII.

Краеугольным камнем народничества в области социальных и экономических отношений был вопрос об общинном устройстве, выдвинутый вперед славянофилами и Герценом. В этом вопросе критическое народничество Михайловского сказалось пессимистическим сознанием приближающегося разложения общины. Михайловский настойчиво требует государственного вмешательства для закрепления общины [44]), но сознает паллиативность даже такой меры: в семидесятых годах уже выяснился в общих чертах быстрый рост нашей отечественной буржуазии, как следствие быстрого перехода от натурального хозяйства к меновому и денежному, после 19 февраля 1861 г. Все это происходило, так сказать, на глазах у Михайловского; теперь стало ясно, что иллюзии Герцена насчет небуржуазности „крестьянского тулупа" так и останутся иллюзиями и невыполнимой утопией; вот почему и точка зрения Михайловского на общину проникнута большой дозой пессимизма, все более и более увеличивающегося к концу 70-х годов. В конце концов он вынужден к признанию, что возможность развития общины в России „убывает с каждым днем" [45]) (1890 г.). Все это достаточно об'ясняет, почему в критическом народничестве Михайловского вопрос об общине разрабатывается главным образом теоретически, в то время как у Герцена он стоял на такой жгуче-практической почве. Другая разница состоит в том, что Герцен стоял за общину, как за возможность избежания мещанского фазиса развития России,

---

44) Собран. сочин., I, 704; IV, 1000 и др.
45) Ibid., IV, 952.

Михайловский же—как за форму устройства, наиболее благоприятную для развития личности (идеального типа). В этом вопросе ему пришлось особенно ожесточенно сражаться с экономическим „либерализмом“.

К семидесятым годам фритредерство утратило часть своего былого значения, но все-таки представляло еще значительную силу, и Михайловский продолжал, после Чернышевского, борьбу с теми же самыми „западными доктринерами“, с которыми в свое время сражался Герцен (например, с Б. Чичериным). Но Герцен оспаривал „либерализм“ с точки зрения наличности в нем элементов мещанства; Михайловский же останавливается главным образом на недостаточном признании этим либерализмом прав и интересов личности: мы знаем, что в этой полярности и заключается различие путей Герцена и Михайловского. Либерализм считался всегда наиболее индивидуалистической доктриной: полная свобода труда каждой личности, полное отрицание государственного вмешательства, казалось, оправдывали это общераспространенное мнение; Михайловский ясно доказал его ошибочность [46]. Действительно, и утопический социализм, и этическая школа в политической экономии резче всего нападали на индивидуализм классической школы и ее эпигонов—либералов-манчестерцев, т. е. на их стремление строить науку на потребностях индивидов, а не всего общества в его целом, ставить на первый план свободу личности и личный интерес. Но Михайловский доказывает весьма убедительно—и в этом доказательстве ему принадлежит пальма первенства—что хотя для либерализма действительно государство, община, цех—только фантомы, которыми нужно пожертвовать для личности, однако, у либерализма есть

[46]) Об отрицательном отношении Михайловского к манчестерству см. Ibid., I, 259—270, 881—2; V, 796—798; VI, 14, 487—489 и др.

и свой фантом, которому личность приносится в жертву: это—система наибольшего производства. „Спрашивается: при чем тут индивидуализм? Тут топчется именно личность, индивид; личная свобода, личный интерес, личное счастие кладутся в виде жертвоприношения на алтарь правильно или неправильно понятой системы наибольшего производства“ [47]). Именно личности и не хочет знать либерализм, и на этот quasi-индивидуализм и вооружается Михайловский во имя интересов реальной личности; с этой точки зрения он приводит аргументы, с которыми мы познакомились у Герцена: праву на труд либерализма он противопоставляет возможность труда, абстрактной личности он противопоставляет реальную [48]).

Это выясняет отношение Михайловского к общине, о чем уже мы упомянули выше. При общинном устройстве личность не приносится в жертву ни государству, ни тем паче системе наибольшего производства; и подобно тому, как Герцен особенно настаивал на том, что община есть путь избавления России от мещанства, так и Михайловский главным образом подчеркивает, что община есть путь наиболее свободного развития реальной личности; общинное устройство дает возможность свободы личности и настоящего индивидуализма, а не того quasi-индивидуализма, который обнаружился в либерализме. „Скажут: община стесняет свободу личности. Это старая сказка... Личная инициатива возможна в экономическом порядке вещей только для собственника. Бойтесь же прежде всего и больше всего такого общественного строя, который отделит собственность от труда. Он именно лишит народ возможности личной инициативы, независимости, свободы“ [49]). Итак, для Михайловского важнее всего то, что община дает

[47]) Собр. сочин., I, 437—8; см. еще I, 445; VI, 303 и др.
[48]) Ibid., III, 199—200 и др.
[49]) Ibid., I, 704—705; см. также VI, 301.

свободу реальной личности; его анти-мещанство вытекает отсюда уже как следствие. „Сторонники общины“, говорит Михайловский в другом месте, „стояли, повидимости, на почве стеснения личной свободы, в сущности-же стояли за личность, и стояли твердо“ [50]). Синтез интересов личности и общества является настоящим индивидуализмом, и Михайловский указывает, что то направление, к которому примкнет он, „может быть формулировано, как торжество личного начала при посредстве начала общинного“ [51]).

Если Россия пойдет таким путем, то она избегнет поглощения мещанством. Но пойдет ли она особым путем развития? И в этом вопросе сказалась ясная разница между воззрениями пятидесятых и семидесятых годов: экономическое развитие России за эти двадцать лет об'ясняет и оптимизм Герцена и пессимизм Михайловского. Герцен верил в возможность особого пути развития России; эту же веру мы находим и у Михайловского, но... у него далее следует весьма большое „но“. Начать с того, что Михайловский допускает особый путь развития только как одну из вероятных возможностей и как следствие отсутствия исторического фатализма [52]). Состояние России в 70-х годах Михайловский считал „зародышевым“, допускающим возможность того или иного пути развития [53])—и его трудно винить за эту ошибку, за то, что он не усмотрел в событии 19 февр. поворотного пункта России от натурального хозяйства к денежному. Особый путь развития для

---

[50]) Ibid., IV, 452.
[51]) Ibid., IV, 701.
[52]) Мы не останавливаемся, чтобы не отвлекаться в сторону, на вопросе о детерминизме Михайловского; что же касается его отрицательного отношения к историческому фатализму, то см. I, 696, 703, 900—903 и др.
[53]) Ibid., I, 902.

Михайловского логически допустим [54]), но в то же время—и Михайловский настаивает на этом—социологически более чем проблематичен. Еще в самом начале 70-х годов он возражал чрезмерным оптимистам, утверждавшим, что русский крестьянин не испытает тяжелой участи своего европейского собрата, при дальнейшем развитии промышленности: „где основания такого оптимизма? Разве европейский рабочий в свое время не был в таком же положении, в каком теперь еще находится наш?" [55]). Но в то время это убеждение у него еще не было окончательно сложившимся; рост денежного хозяйства, государственного и частного кредита, наконец вообще рост буржуазии окончательно убедили Михайловского в том что, особый путь развития России был постепенно убывающей возможностью: „теоретической возможностью она остается в наших глазах и до сих пор. Но она убывает, можно сказать, с каждым днем. Практика урезывает ее безпощадно"... [56]). В этом сознании заключался новый признак критического народничества и один из пунктов отличия его от народничества Герцена. Дальше этого сознания народничество идти не могло; с этого момента мы можем говорить о „разложении народничества"... Эпигонами народничества явились в этом смысле и г. В. В., и Юзов-Каблиц, и „Русское Богатство" девяностых годов. Старые боги были свергнуты; новые народились.

---

[54]) Ibid., VI, 350.

[55]) Ibid., I, 695 („Из литературных и журнальных заметок" 1872 года). Интересно однако, что такое мнение об одинаковости законов экономического развития не было у Михайловского в то время достаточно твердым: страницею дальше он возвращается к мысли о возможности особого экономического пути развития для России; только к началу 80-х годов Михайловский почти совершенно отказывается от этой иллюзии народничества (см. ниже).

[56]) Ibid., IV, 952 („Литературные заметки" 1880 г.).

VIII.

Но мы не собираемся останавливаться на этом разложении народничества, тем более, что это окончательно удалило бы нас от Герцена, к которому мы теперь снова возвращаемся. До сих пор мы убеждались в полярности путей Герцена и Михайловского; проследить эту полярность и было нашей задачей. Анти-мещанство Герцена и индивидуализм Михайловского оказались двумя сторонами одной и той же медали—народничества. Если это справедливо, то и обратно—отношения Михайловского к мещанству и Герцена—к личности должны быть приблизительно тождественны по существу, расходясь только в подробностях. На отношение Михайловского к мещанству мы уже указали, отметив теорию идеальных и практических типов [57]), теперь скажем несколько слов об отношении Герцена к личности.

Несомненно, что Герцен держался принципов такого же индивидуализма, как и Михайловский в отмеченных нами местах; иначе и быть не могло: очевидно, что отрицательное отношение к безличному мещанству должно было сопровождаться у Герцена некоторым „культом индивидуальности“, в котором можно искать зачатков культа личности у Писарева и гораздо более серьезных теорий П. Лаврова (о „критически мыслящих личностях“) и Михайловского. Личность Герцен ставит очень высоко—гораздо выше, чем ставит ее quasi-индивидуа-

---

[57]) Тождественное с герценовским отношение Михайловского к мещански-буржуазному европейскому обществу ярче всего выразилось главным образом в блестящей статье „Дарвинизм и оперетки Оффенбаха“ (1871 г.).

лизм либерализма; фарисейские разглагольствования об эгоистичности индивидуализма выводят его из себя: „какой смысл всех этих разглагольствований против эгоизма, индивидуализма?“ [58]). Почему эгоизм—понятие отрицательное? Почему личность должна быть подчинена обществу? „Кто для кого, личность для общества, или общество, государство для лица?—Без сомнения, лицо для государства, иначе что же это будет—эгоизм своеволие!—Я совершенно согласен с вами“...—иронически оканчивает Герцен этот воображаемый разговор [59]), и дальше с силой восстает против этого шаблонного мнения. Эгоизм — но ведь это соль личности, „всего менее эгоизма в камне“; своеволие—но „что же (это) за нравственная обязанность быть под авторитетом чужеволья?“ [60]). Вот почему Герцен не мог согласиться с принципом главенства общества: „подчинение личности обществу, народу, человечеству, идее — продолжение человеческих жертвоприношений, заклание агнца для примирения Бога, распятие невинного за виновных“... [61]). В этом вопросе Герцен категорически и радикально расходился с западно-европейскими мыслителями, например с Луи Бланом, который так отрицательно относился к принципу индивидуализма и противопоставлял ему принцип братства. Герцен рассказывает о характерном разговоре, когда-то происходившем между ними. Луи Блан часто высказывал общие места об индивидуализме и братстве, не ожидая возражений на такие, по его мнению, очевидные истины.

— «Жизнь человека — великий социальный долг: человек должен постоянно приносить себя на жертву обществу.

---

[58]) „С того берега“, стр. 172.
[59]) „Капризы и раздумье“ („Новые вариации на старые темы“), стр. 179.
[60]) Ibid., стр. 180—181.
[61]) „С того берега“, стр. 168.

— Зачем? — спросил я (Герцен) вдруг.

— Как зачем? Помилуйте: вся цель, все назначение лица—благосостояние общества.

— Оно никогда не достигнется, если все будут жертвовать и никто ни будет наслаждаться..

— Это игра слов.

— Варварская сбивчивость понятий, — говорил я, смеясь» [62]).

Но это конечно, не было варварской сбивчивостью понятий; это было продолжением общей тенденции русской мысли сороковых годов к синтезу общества и личности, при главенстве интересов последней. Еще в середине тридцатых годов Огарев высказывал, что задача общественной организации заключается в сохранении «полной индивидуальной ,свободы» при «высочайшем развитии общественности»; «сочетать эгоизм с самопожертвованием – вот в чем дело, вот к чему должно стремиться общественное устройство» [63]). Белинский гораздо ярче высказал примат интересов личности. «Я теперь в новой крайности — это идея социализма», писал он; но социализм не помешал ему поставить «человеческую личность выше истории, выше общества, выше человечества» [64]). Герцен стоял на такой же точке зрения, но он понимал, как и Белинский, что человеческая личность может достичь полной свободы только при синтезе ее с обществом в его наиболее развитых и желательных формах: «одно разумное, сознательное сочетание личности и государства приведет к истинному понятию о лице вообще... Сочетание это — труднейшая задача, поставленная современным

---

[62]) Сборник посмертных статей, «Горные вершины» стр. 104 — 105.

[63]) Анненков: «Литературные воспоминания», стр. 45.

[64]) Белинский, письмо к Боткину от 4 окт. 1840 г.

мышлением» [65]). То или иное решение этой задачи пытались дать и западники, и славянофилы, и народничество—в лице Герцена, Чернышевского и Михайловского.

Как Михайловский решал эту задачу — мы видели выше на частном вопросе свободы человеческой личности в общине; выше мы подчеркнули ту роль, какую играет понятие реальной личности в построениях Михайловского. Мы видим теперь, что по существу таково же было отношение к личности и у Герцена; Михайловский только пошел дальше Герцена и отчасти изменил позицию: то, что у Герцена было следствием, стало у него основанием и причиною, и наоборот [66]), но от этого не изменились ни причина, ни следствие: отрицательное отношение к мещанству и его безличности привело Герцена к своеобразному индивидуализму; индивидуализм Михайловского, его высокая оценка личности привели его к отрицательному отношению и мещанству. Интересно, что взгляды их на личность к общество послужили поводом к их обвинению в принадлежности к анархизму: против Герцена такое обвинение выставляли еще читатели «Колокола» (см. 1-ый его лист), против Михайловского его высказал Н. Бердяев в своей книге [67]). В этом есть некоторая доля

[65]) Герцен: «Несколько замечаний об историческом развитии чести», стр. 255. Ср. со следующими словами Белинского: «во мне развилась какая-то... фанатическая любовь к свободе и независимости человеческой личности, которая (свобода) возможна только при обществе, основанном на правде и доблести»... (письмо к Боткину, 28 июня 1841 г. и др.).

[66]) Михайловский в сущности дал наиболее определенное решение задачи о личности и обществе своей теорией борьбы за индивидуальность; решение это, однако, чисто отрицательное, так как доказывает невозможность какого бы то ни было синтеза между личностью и обществом, развивающимся по органическому типу.

[67]) «Суб'ективизм и индивидуализм в общественной философии», гл. II.

истины: и Герцен и Михайловский отрицательно относились к обществу, развивающемуся «по органическому типу развития» (если пользоваться терминологией Михайловского). В статье «Что такое государство» [66]) доказывается, что в государстве (особенно парламентарном) большинство и меньшинство народонаселения всегда могут считаться составившими заговор друг против друга; здесь доказывается как бы антиномичность самого понятия «государство». В других статьях своего журнала (и особенно в книге «С того берега») Герцен отрицательно относится к государству, как к кристализованному в общественных формах мещанству. Михайловский отрицательно относится только к органическому типу общества, т. е. к такому обществу, в котором личность подавлена и индивидуум играет роль органа; критерий блага личности, сходящийся с благом народа (об этом критерии мы говорили выше), побуждает Михайловского осудить то общество, где интересы личности играют второстепенную роль, и все внимание обращено на фиктивные интересы общественного организма. Мы видим, что и здесь Герцен и Михайловский сходятся в результате, не смотря на различие путей: один отрицает общество постольку, поскольку оно является мещанским; другой борется с ним в том случае, если видит подчинение интересов личности тем или иным фикциям.

IX.

В предлагаемом кратком очерке я не задавался целью детально сравнить два настолько широких мировоззрения, какими были мировоззреня Герцена и Михайловского: задача эта требует не нескольких страниц, а нескольких томов. Только при подробном разбо-

---

[66]) «Полярная звезда», 1855 г., статья Энгельсона.

ре можно развить принятую нами точку зрения и найти в общественных отношениях об'яснение того, почему именно Standpunct'ом мировозрения Герцена является отрицательное отношение к мещанству, почему все мировоззрение Михайловского построено на реальной личности. Это можно предполагать даже до некоторой степени априорно, имея в виду, что на рубеже между Герценом и Михайловским стоит 19 февраля 1861 г., что деятельность Герцена началась в приснопамятную эпоху оффициальной народности, начавшуюся после 14-го декабря 1825 года, что Михайловский был идеологом новых общественных форм, лозунгом которых было освобождение личности. Эпоха оффициальной народности (удачный термин, введенный Пыпиным) во всех отношениях заслуживает быть названной „эпохой оффициального мещанства", так как это было время сплошной и серой безличности, бюрократической плоскости и узости казенщины; в эту эпоху пришлось жить и действовать Герцену. Чем сильнее давило его окружавшее его мещанство, тем сильнее он реагировал на него; в этой борьбе с мещанством выросло и закалилось его мировоззрение. Обратно, Михайловский начал свою деятельность в „эпоху великих реформ", которая оказалась и эпохой расцвета индивидуализма; освобождение крестьян было только одним из проявлений всеобщего освобождения: освобождалась личность из пут мещанства предшествовавшей эпохи. Борьба с мещанством выпала на долю Герцена; провозглашение и теоретическая обосновка начал индивидуализма—главным образом на долю Михайловского и его непосредственных предшественников (отчасти Писарева и более всего—Лаврова).

Интересна участь самой терминологии, самих терминов мещанство и индивидуализм. Несмотря на то, что термины эти введены Герценом и Михайловским полвека тому назад, несмотря на их выразительность и

полную определенность, они еще не получили прав гражданства в литературе. За последнее время термин „мещанство“, в смысле, употреблявшемся Герценом, начал пробивать себе дорогу [69]), и по всей вероятности установится окончательно в литературе и в разговорной речи; но „индивидуализм“ до сих пор еще остается хотя и часто употребляемым, но совершенно неопределенным понятием: под ним готовы подразумевать то эгоизм, то некоторый анти-общественный принцип (в смысле, приданном Луи Бланом), то нечто положительное, как высокую оценку личности. Выше мы держались везде того понимания этого слова, по которому индивидуализм есть диаметральная противоположность мещанства, положительное, созидающее понятие—в то время как мещанство понятие совершенно отрицательное [70]). Индивидуализм является поэтому признанием главенства личности и ее интересов, при

---

[69]) С легкой руки М. Горького. В шестидесятых и семидесятых годах были попытки упрочить терминологию Герцена (см., напр., статьи П. Ткачева „Люди будущего и герои мещанства“; „Идеалист мещанства“ и др.—в „Деле“ 1868 и 1877 гг.)—но безрезультатно. М. Горький в своих „Мещанах“ (и других произведениях) принял за этим термином приданный ему Герценом смысл и упрочил его в широкой публике. Впрочем—и это интересно отметить—рецензент „Русского Богатства“ (1902 г.) упрекал М. Горького за непростительный каламбур и обвинял его в игре слов, за то, что у него термин „мещанство“ имеет не исключительно сословное значение! Этот „каламбур“ полвека тому назад лег краеугольным камнем миросозерцания Герцена... Обвинение во всяком случае было направлено не по адресу. И особенно пикантно то, что „рецензентом“ этим был не кто иной как... Н. К. Михайловский! (см. его соч., т. X).

[70]) Тот же рецензент (т. е. Н. К. Михайловский) считает расширение и обобщение понятия „мещанства“ неудобным, ибо мало определенным: ему можно будет противопоставить „эстетизм“, „декаденство“ и т. п. Но дело в том, что „мещанству“, как этическому понятию, можно и должно противопоставить только „индивидуализм“.

необходимом синтезе ее с обществом; он требует широты поля действий этой личности, при глубине ее содержания. Термины эти неразрывно связаны с деятельностью Михайловского и Герцена: последний был настолько же ярким анти-мещанином, насколько первый был ярким индивидуалистом. Взаимную связь этих понятий в их мировоззрениях мы старались проследить выше. Мы видели, что понятие „мещанства" является исходной базой Герцена для его отрицательного отношения к западно-европейским формам (не говорим уже о формах русских в период „эпохи оффициального мещанства"); отсюда родилось и народничество Герцена, как в высшей степени анти-мещанская идеология, в которой „личность" необходимо занимала весьма высокое положение. Мы видели также, что у Михайловского основной базой явилось именно высокое понятие о личности, что краеугольным камнем его мировоззрения был индивидуализм; поэтому и народничество Михайловского было глубоко индивидуалистической идеологией; само собой разумеется, следствием этого было и отрицательное отношение к мещанству. „Полярными" путями Герцен и Михайловский пришли к одной и той же конечной точке.

Михайловский как-то раз заметил („Русское Богатство", 1902 г.), что существуют писатели, которые по тем или иным причинам являются в нашем представлении ассоциированными и тесно связанными попарно. Таковы, например, Вольтер и Руссо; одной из наиболее неразрывных пар считаются Л. Толстой и Достоевский; из молодой современной литературы Михайловский называет М. Горького и Чехова. Нам кажется—и мы старались это доказать,—что одной из наиболее ярких подобных пар являются величайшие представители „русского социализма"—народничества—Герцен и Михайловский.

1905 г.

Драмы Герцена.

I.

„Мы присутствуем при великой драме; для того, чтобы ее видеть, надобно собрать все силы души—у кого нервы слабы, могут идти в поля, в леса. Драма эта не более и менее, как *разложение христиано-европейского мира*“...

Так говорил Герцен в одном из писем 1848 года, когда волны февральской революции не успели улечься, но когда реакция уже торжествовала победу. Старый мир терпит крушение; его формы обветшали, изжили самих себя, он не устоит против волн революции внешней и внутренней, будь то сейчас или через сто лет— не все-ли равно! Одно ясно: приближается час гибели старого мира:

Le monde fait naufrage—
Vieux bâtiment, usé par tous les flots
Il s'engloutit: sauvons-nous à la nage!

Надо спасаться вплавь, надо найти новую твердую землю, надо *с того берега* окинуть взглядом и погибающий старый мир, и первые ростки мира нового, которому суждено обновить человечество. В книге „С того берега“ (написанной в 1848—1849 г.) Герцен приводит, между прочим, два примера такого нового строительства на новом берегу: с одной стороны это—старый Рим и христианство, с другой—английские пуритане XVII-го века и Северная Америка. Где этот но-

вый берег?—спрашивает Герцена его собеседник (в главе „Перед грозой"),—куда плыть, куда бежать? „Где эта новая Пенсильвания, готовая..."—„...Для новых построек из старого кирпича"...—иронически подхватывает Герцен и продолжает:—„Вильям Пенн вез с собою старый мир на новую почву; Северная Америка—исправленное издание прежнего текста, не более. А христиане в Риме перестали быть римлянами,—этот внутренний от'езд полезнее"...

Известно, что тема эта—разложение старого мира—стала основной, главной темой Герцена пятидесятых годов; ряд книг и статей был посвящен им этой теме. „С того берега", „Письма из Франции и Италии", „Старый мир и Россия" и многое множество более мелких статей, написанных после 1848 года, развивали тему неизбежности гибели старого мира, этого vieux bâtiment, usé par tous les flots... Все это хорошо известно. Менее известно, что и в тридцатых годах те-же самые темы занимали молодого Герцена; по крайней мере обе его юношеские драмы, „Лициний" и „Вильям Пенн", написанные в 1838—1839 году, касались все того-же вопроса гибели старого мира и зарождения нового. Недаром в главе „Перед грозой" Герцен, как мы видели, вспомнил по этому поводу римских христиан и английских квакеров: это именно и была тема—с одной стороны „Лициния", с другой—„Вильяма Пенна". Я остановлюсь на этих драмах, уничтоженных в свое время самим автором; до нас дошел однако сценарий обеих пьес, одна сцена первой и почти полный список второй из них. Все это представляет большой интерес особенно потому, что рисует нам те взгляды и настроения молодого Герцена, которые развились впоследствии в глубокое и стройное социально-философское воззрение.

Как и когда родились впервые у Герцена эти мысли о борьбе двух миров?—Это случилось в 1833 г.,

когда Герцену и Огареву „впервые попались в руки сен-симонисткие брошюры, их проповеди, их процесс“... Это был знаменитый процесс Базара и Анфантена в 1832 году, когда обвиняемые превратились в обвинителей и бичевали фарисейство и мещанскую мораль своих судей. Апостолы сен-симонизма, предтечи социализма,—говорит Герцен,—„торжественно и поэтически являлись середь мещанского мира... Они возвестили новую веру, им было что сказать и было во имя чего позвать перед свой суд старый порядок вещей... Новый мир толкался в дверь, наши души, наши сердца растворялись ему. Сен-симонизм лег в основу наших убеждений и неизменно оставался в существенном“ („Былое и Думы“, гл. VII). И с этих пор мысль о глубокой драме *борьбы двух миров* не переставала занимать Герцена; он предвидел эту драму впереди, в близком или далеком будущем,—он видел ее и позади, в делеком или недавнем прошедшем. Конечно, „всегда прошедшее с грядущим вело тяжелый долгий спор“,—и в этом заключается вся драма всемирной истории; но бывали резкие и острые моменты, когда эта обычная драма достигала до вершин общественной и личной трагедии, когда с всемирным грохотом рушился старый мир—старый Рим,—когда что-то новое, неведомое подымалось на развалинах старого. Так было отчасти и в великой французской революции, так будет и в величайшей всемирной революции будущего. Этому верил Герцен и верил, что крушение старого мира близко, „при дверях“, что Catilina ante portas, что надо создавать новое содержание для новых форм. „Сен-симонизм — писал он тогда-же Огареву — имеет право нас занять. Мир ждет обновления, потому что революция 89-го года ломала и только, но надобно создать новое, *палингенезическое* время, надобно другие основания положить обществам Европы“...

Таковы были мысли и чувства двадцатидвухлетнего Герцена, когда он был арестован (21 июля 1834 года),

заключен в тюрьму, судим „за образ мыслей, несвойственный духу правительства, за мнения революционные и проникнутые пагубным учением Сен-Симона“ и выслан под надзор полиции в Вятку,—куда и прибыл в середине мая 1835 года и где пробыл два с половиною года. Здесь он встретился (23-го ноября 1835 г.) и близко сошелся с гениальным и несчастным Витбергом *): о нем надо сказать потому, что он оказал в эти годы сильное влияние на молодого Герцена, а тем самым и на замысел двух его „социально-религиозных драм“. Витберг был глубокий мистик, и мистицизм этот окрасил все социальные идеалы и верования Герцена той эпохи.

„Приезд сюда Витберга,—писал Герцен из Вятки Кетчеру 22 ноября 1835 года,—есть для меня вещь важная. Он понимает всякий восторг, ценит всякое чувство, он артист в душе, артист не zum Zeitvertrieb, а потому, что он не мог бы быть не артистом. В его голове родилась мысль высокая, сбыточная или нет—что за дело. Мысль эта обвила все его существование, была сердцем его жизни и не удалась. Пусть другие назовут его сумасшедшим; я думаю, что он великий человек среди мелочного времени“... Так говорил Герцен о Витберге; тридцатью годами позднее он мог-бы с горечью повторить это о самом себе: и у него была мысль высокая (сбыточная или нет—что за дело!), которая обвила все его существование, была сердцем его жизни; впервые мысль эта выражена Герценом и Огаревым в 1827 году на Воробьевых горах, как раз на месте закладки грандиозного и неосуществленного храма Витберга: там они дали клятву пожертвовать жизнью в

*) О Витберге и Герцене см. между прочим статью в февральской книжке журнала „Старые годы“ за 1912 год, а также статьи в „Русск. Стар.“ 1872 г. т. V, 1876 г. т. XVII и 1897 г. т. XCII.

борьбе за свободу. Тогда они еще не знали, за какую „свободу“ готовы они отдать жизнь; лет через пять-шесть Герцен стал „сен-симонистом“ и готов был бороться не за одну свободу политическую, а за новые социальные формы, за „новый мир“ против старого. И теперь, в Вятке, сойдясь с Витбергом, Герцен не мог не вспомнить своей клятвы, данной на развалинах Витбергова храма: всем пожертвовать, ради участия в построении нового всемирного храма счастья человеческого.

С Витбергом Герцен сошелся близко и всецело отдался религиозному влиянию гениального неудачника. Недаром в одном из писем 1838 года к Герцену Витберг говорит о том семени, которое посеял он в душе Герцена, о том „рождении в духовную жизнь“, которое совершилось с Герценом, о его обращении в христианство. Витберг имел право говорить так — это достаточно ясно хотя-бы из одной переписки Герцена с Витбергом, отчасти опубликованной *); и Герцен имел основание впоследствии воздать должное Витбергу и признать его влияние на себя; еще в письме 1838 года из Владимира Герцен писал о себе Витбергу: „вы были Виргилий, взявшийся вести Данта, сбившегося с дороги“. Мистицизм Витберга отразился на взглядах Герцена. „Влияние Витберга поколебало меня,—говорит Герцен:—...Но именно в ту эпоху, когда я жил с Витбергом, я более чем когда нибудь был расположен к мистицизму. Разлука, ссылка, религиозная экзальтация писем, получаемых мною, любовь...—все это помогало Витбергу. И еще два года после я был под влиянием идей мистически-социальных“ (Былое и Думы“ гл. XVI).

„Два года после“—это значит года 1838—1839, время пребывания Герцена во Владимире на Клязьме и время создания им двух „социально-религиозных

*) „Русск. Старина“ тт. XVII и XCII.

драм". Вообще это было время усиленных попыток художественного творчества Герцена. Он пишет повесть „Его Превосходительство" (утеряна), задумывает повесть „Граница Ада с Раем", пишет „Лициния", сообщает Витбергу, что „поэма Вильям Пенн почти окончена" и шутливо замечает в письме 1838 года к Кетчеру: „говорят Нил способствовал плодородию женщин; но я начинаю думать, что Клязьма способствует *литерацкому* плодородию; впрочем все статьи у меня родятся per abortum—естественный недостаток"... Такими драмами „per abortum" были социально-религиозные сцены „Лициний" и „Вильям Пенн". В литературно-художественном отношении обе эти драмы крайне слабы, но представляют теперь большой историко-литературный интерес; в них мы находим первое яркое проявление той драматической коллизии, которая была „сердцем жизни" Герцена—коллизии разложения старого мира и зарождения нового.

„Я в 1838 году написал в социально-религиозном духе исторические сцены, которые тогда принимал за драмы. В одних я представлял борьбу древнего мира с христианством; тут Павел, входя в Рим, воскрешал мертвого юношу к новой жизни. В других—борьбу оффициальной церкви с квакерами и от'езд Вильяма Пенна в Америку, в Новый Свет. Я эти сцены, не понимая почему, вздумал написать *стихами*. Вероятно я думал, что всякий может писать пятистопным ямбом без рифм".

Так писал впоследствии Герцен в „Былом и Думах"; а в 1838-ом году (4-го октября) он вот что писал на эту же тему к Кетчеру: „при первой оказии я пришлю тебе первую часть фантазии *Палингенезия*,—я написал Сазонову, что это драма. Нет, просто сцены из умирающего Рима. Это первые стихи с 1812 года мною писанные,—кажется, пятистопный ямб дело человеческое"... Если вспомнить выражение Герцена в цитированном выше письме его 1833-го года к Огареву о необходи-

мости создать новое *палингенетическое* время и обновить старый мир,—то этим сразу осветятся задачи „драматических фантазий“ Герцена, носивших общее заглавие „Палингенезия“. Обратимся же к двум этим драмам и сперва к первой из них—„Лицинию“.

II.

На площадях Рима раздается проповедь Евангелия, и все рабы, бедняки, все труждающиеся и обремененные жадно слушают новую весть искупления, в то время как римская аристократия с улыбкой презрения смотрит на эту проповедь,—так писал впоследствии Герцен в четвертом из своих „Писем об изучении природы“ (1844 г.). „Тацит не понял сначала и Плиний не понял потом, что совершалось перед их глазами“,—а совершилось не более и не менее как разложение старого римского мира, гибель его от руки *пролетария*, ищущего новых и духовных, и социальных ценностей. Вот тема „Лициния“, на которую натолкнуло Герцена в 1838-м году чтение Тацита. „Задыхаясь, с холодным потом на челе, читал я страшную повесть (Тацита),—как отходил в корчах, судорогах, с речью предсмертного бреда вечный город... Есть особое состояние трепета и беспокойства, мучительного стремления и болзни, когда будущее, чреватое целым миром, хочет развернуться, отрезать все былое, но еще не разверзалось; когда сильная гроза предвидится; когда ее неотразимость очевидна, но еще царит тишина“... И вот—„рядом с мрачным, окровавленным, развратным, снедаемым страстями Римом, предстала мне бедная община гонимых, угнетенных проповедников Евангелия, сознавшая, что ей вручено пересоздание мира“... Столкновение этих двух миров — вот содержание всех четырех картин

„Лициния“, известных нам в позднейшем сценарии Герцена и в отрывке одной сцены (напечатанном в записках Т. Пассек „Из дальних лет“, откуда и предыдущая цитата).

Лициний, молодой, больной, недавно вернувшийся в Рим из Афин, присутствует на „пышной оргии à l'antique“ у своего дяди, патриция Пизона, который работает над заговором против Нерона. Пир в полном разгаре: горячие речи, тосты, политические намеки заговорщиков, вино, цветы. Лициний один не участвует в общем разгуле, и „на веселый тост отвечает печальною речью“. Он говорит, что старый Рим умер, не воскреснет, что безумно вызывать прошлое из могилы. На старом Риме лежит грех разделения, грех братоубийства: не Ромул убил Рема, а патриции угнетали и убивали плебеев; и теперь, вызывая прошедшее из могилы, как бы не вызвать вместо Ромула—Рема, голодного и одичалого в подземной жизни своей! И его уже ждут—но ждут „не граждане Рима, не патриции, его ждут бесправные, покрытые рубищем, чернь спартаковская“, ждут его рабы, пролетарии... Речь Лициния заключает собою шумную оргию; она угнетает гостей; пир расстраивается.

Во втором действии Лициний, тяжело больной, лежит под деревом в саду; с ним друг его Мевий, „блестящий умом и красотой, пылающий здоровьем“. Мевий проповедует философию эпикуреизма (ту самую, которую впоследствии в бесконечно углубленном и облагороженном виде отчасти проповедовал, как „философию настоящего“, сам Герцен), а Лициний мучается в вечном колебании, в тяжелом неверии и в жизнь, и в смерть, и в богов. Один только платоновский *Логос* занимает его душу, как тайна, как гиероглиф, который он не может разгадать. И еще другая тайна, другой гиероглиф—это то, что совершается теперь в мире, в истории. „Что то великое совершается. Этим путем

мир дальше идти не может: он своими когтями разорвал свою грудь и пожирает свои внутренности"... Мевий ведет разговор с подошедшим патрицием о заговоре; оба они бранят „подлых рабов", „подлое отродье подлых корней"—плебеев, пролетариев, которые позволяют себе „нечестивые речи" против патрициев и аристократов. Плебеев поощряет Нерон. Но заговор зреет; и Мевий хочет верить, что „раз, два сядет солнце и в третий взойдет над освобожденным Римом и он, как феникс, воскреснет в лучах прежней славы, пробудится от тяжелого лихорадочного сна, в котором грезил чудовищные события"... И снова эту веру разрушает Лициний горячей, убежденной речью. „Дом падает,—восклицает он,—столбы покачнулись, скоро рухнут, а вы хотите поддержать его! Чем? руками?—вас раздавит, а здание всетаки упадет... Рим кончил свое бытие... Что хотите? Воскресить Рим? Зачем? Для кого вы работаете, на кого обопретесь? На плебеев, что ли? Да они вас ненавидят! Было время, плебей считал патриция за отца. Хорошо воспитал отец сына: он его ограбил, замучил на тяжкой работе, прогнал из дома, резал мясо его на куски за долги, морил в тюрьме, ругаясь над ним, спрашивал, глядя на закорузлую руку—не четвероногий ли он *)?.. При первом же шаге он вас растерзает на части, и нечему дивиться... В основе своей Рим носил зародыш гибели. Время казни настало. Он богами посвящен! Рем, облитый кровью, встал он требует наследия, отчета; он не забыл, что его зарезал родной брат из корысти. Он одичал в преисподней; безумье блестит в его глазах, лишенных света несколько веков, у него в груди одно чувство—месть!.. Он—огонь, прокравшийся всюду и сожигающий со всех сторон ветхое здание!.."—Мевий не хочет слушать такие речи, „полные отравы"; он хочет лучше погибнуть с верою в Рим, „нежели дать место

*) Острота Сципиона Африканского.

в груди ядовитым песням фурий“. Но Лицинию и самому больно; „не брани меня, плачь обо мне“,—отвечает он на упреки друга. „Я люблю Рим, но не могу не видет, что стою у изголовья умирающего. Если б можно было создать новый Рим—прочную, обширную храмину!.. Теперь—*делать нечего:* Да, нечего, и это худшая кара, которая может пасть на людей... Бедные, несчастные! Фатум призвал нас быть страдательными свидетелями позорной смерти нашего отца, и не дал никаких средств помочь умирающему, даже отнял уважение к развратному старику. А между тем в груди бьется сердце, жадное деяний и полное любви. Ни Эсхилу, ни Софоклу не приходило в голову такого трагического положения. Может, придут другие поколения, будет у них вера, будет надежда, светло им будет, зацветет счастье... Но мы промежуточное кольцо, вышедшее из былого, не дошедшее до грядущего. Для нас темная ночь—ночь, потерявшая последние лучи заходящего солнца и не нашедшая алой полосы на востоке. Счастливые потомки, вы не поймете наших страданий, не поймете, что нет тягостнее работы, нет злейшего страдания, как *ничего не делать*! Душно!..“

Я намеренно привожу с такой полнотой эти речи Лициния, так изумительно предвосхитившего (в 1838-м г.) все то, что сам от себя высказал Герцен десятью годами позднее, в книге „С того берега“. Под этой сценой и следующей стоит подпись: „1838 г. Владимир на Клязьме“; если бы не эта подпись, то можно было бы подумать, что это уже в пятидесятых годах Герцен, возстановляя по памяти сценарий „Лициния“, переложил в прозу и значительно развил то, что десять лет тому назад было написано пятистопным ямбом и что в первоначальном виде было значительно примитивнее. Но дата, которую мы не имеем основания оспаривать, заставляет придти к другому возможному предположению: задумав „Лициния“, Герцен сперва набросал главную

сцену прозой, а затем уже перевел ее на пятистопный ямб—первые стихи, писанные им с 1812 года, по его шутливому выражению. Об этом „пятистопном ямбе", сохранившемся во второй драме Герцена—речь впереди; здесь надо было только подчеркнуть поразительную близость слов Герцена, высказанных устами Лициния в 1838 году, и suo nomine—десятью годами позднее.

Возвращаюсь к сценарию, к концу второго действия. Измученный болезнью, измученный неверием в мир и Рим, Лициний вспоминает о своей встрече в Афинах с каким-то стариком-пророком, вера которого была полна покоя и надежды в будущее... *) Лициний впадает в забытье и видит этого старика, который зовет его за собой. Дыхание останавливается, Лициний умирает.

Третье действие—forum Appii. Поют певцы, шумит народ, требует panem et circenses; императорские шпионы успокаивают народ: львы и тигры уже готовы и скоро ими будут травить каких-то назареев. Какая-то женщина говорит, что только-что сама видела одного из назареев на Аппиевой дороге: он проповедывал, поучал своей вере. „Он так утешительно говорил, так хорошо, не могу всего пересказать. Говорил он, что пора каяться, что новая жизнь началась, что Бог послал сына своего спасти мир, спасти притесненных и бедных"... Голоса подхватывают: „слышите! слышите! Говорят, и слепые стали видеть, и мертвые воскресают!"—но толпа ревет: „в цирк его, в цирк! Но сначала пойдемте его смотреть!"

Последнее действие—via Appia: похоронная процессия, несут в родовой колумбарий тело Лициния; родные Лициния, Сенека, патриции, сенаторы и толпа с форума. На встречу процессии идет поднимающийся в гору апостол Павел со своими спутниками; он благословляет раскинувшийся перед ним вечный город. Отец Лициния

*) Слишком очевидно, что для Лициния-Герцена этим стариком пророком в 1838 году был старик Витберг.

с сарказмом требует, чтобы апостол воскресил его сына. „Молись и верь“,—отвечает Павел и, обращаясь с проповедью к народу, пророчит кончину старого мира и водворение нового; окончив проповедь, он молится, коленопреклоненный. Лициний приходит в себя и узнает в Павле афинского старика-пророка. Народ в ужасе, видя воскрешение мертвого. Отец Лициния предлагает апостолу часть своего состояния, но Павлу этого не нужно: „раздай бедным“,—отвечает он. Отец зовет сына с собой, но тот кротко отвечает ему: „Лициний твой умер, вот мой отец и моя родина, я иду по стопам его“, и идет вслед за Павлом. Народ, расступаясь, приветствует Апостола. „Сенека не верит в воскрешение, он думает, что Лициний был в летаргическом сне. Какой-то жрец находит, что это гораздо опаснее, нежели думают, и идет во имя богов делать донос в языческую консисторию“.

Таково содержание „Лициния“, насколько можно восстановить его из сохранившихся отрывков и восстановленного самим Герценом в 1860 году по памяти, „sauf erreur et omission“, сценария. Ошибки и пропуски здесь очень возможны, если судить по сценарию „Вильяма Пенна“ в сравнении с имеющимся в наших руках списком этой второй драмы; но конечно, все существенное передано верно и полно. Тем ценнее значение этой юношеской драмы для характеристики взглядов молодого Герцена в связи с его воззрениями уже после февральской революции. Мистическое влияние Витберга могло отразиться на двух последних действиях „Лициния“; но два первые в безмерно большей степени говорят о самостоятельной работе мысли молодого автора, стоявшего уже давно на почве социально-религиозных устремлений сен-симонизма.

Автобиографическое—в самом общем смысле—значение этой пьесы не подлежит сомнению, и сам Герцен подчеркивал именно такое значение своей драмы. И это

не только в том отношении, что есть несомненная связь между Лицинием и воскресившим его апостолом Павлом с одной стороны и Герценом с „возродившим“ его Витбергом с другой *); дело не в этом внешнем сходстве положения, и, разумеется, полной аналогии здесь нет. Гораздо важнее та внутренняя созвучность, которая соединяет Герцена с героем его драмы (или „поэмы“, как он ее иногда называл). Недаром писал он, посылая вятским друзьям отрывок „Лициния“: „посылаю отрывок из моей поэмы, которая сама есть отрывок из меня самого, а я—отрывок человечества, а человечество—вселенной“; он чувствовал, что драма души его есть именно драма Лициния, и что драма эта—мировая. И недаром Витберг, отвечая ему о „Лицинии“, писал: „предмет, вами избранный, хорош и верно очень счастливо выполните; я между прочим понял тогда-же, что этот труд будет заключать в себе нечто относящееся собственно к вам“... Витберг был прав; но ни он, ни сам Герцен не могли предполагать, до какой степени грядущая драма жизни Герцена повторит собою „драматическую фантазию“—Лициния...

Над „Лицинием“ Герцен работал много и долго. В письме к Кетчеру от 4 октября 1838 года Герцен, как мы это видели, собирался „при первой оказии“ прислать своему другу „сцены из умирающего Рима“—первую часть фантазии *Палингенезия*“. Это был „Лициний“; Герцен послал его вятским друзьям, послал к Кетчеру, но уже через полгода требовал назад эту рукопись для исправления и продолжения. Сохранилось шутливое письмо его к Кетчеру из Владимира от 28 июня 1839 г., где упоминается о „Лицинии“; вот относящаяся к „Лицинию“ часть письма:

---

*) Стоит только прочесть письмо Витберга к Герцену от 18 января 1838 г., чтобы увидеть „апостольское“ отношение Витберга к „рожденному“ им духовно Герцену См. „Русск. Стар.“, т. XCII, стр. 479.

„Александр Герцен Николаю Кетчеру, Baro ab Upsala, здравия желает...

Rp.

Уложи Витберговой работы портрет ʒʒ.

Adde:

Писаную книгу мою ʒvj.

„Лициния“ ʒij.

Перемешать с ароматическими травами „сено“, propr. sic. dictum.

DMS.

Для втирания в мозговую плеву

Pro D-no A. Herzen.

Louis Philippe.

Docteur en médecine.

18—28/vi—39.

Представь себе, что хочу поправить Лициния и продолжать—и не могу, потому что m-me Ogareff, точно черниговская дворянская опека, перенесла все дело о „Лицинии“ в Упсальское (transbasmano) владение“ *)...

Таким образом еще в середине 1839 года Герцен работал над первой своей драмой; в это самое время он писал Витбергу, что „почти окончил“ вторую часть своей *Палингенезии*—„Вильяма Пенна“, к которому мы теперь и перейдем—он тесно связан с „Лицинием“:

---

*) „Baro ab Upsala“, „Упсальским бароном“ называли в дружеском кругу Н. Х. Кетчера, который жил в это время в Москве за Басманной (trans-bacmano); „Витберговой работы портрет“—портрет Герцена 1836 г., рисованный Витбергом в Вятке; „писанная книга“—вероятно, та тетрадь, которую Герцен вел в Вятке и Владимире с 6-го марта 1836-го по 12 февраля 1838-го года, и которая была в 1872 году найдена г-жой Е. Некрасовой у букиниста.

„та-же мысль, тот-же основной мотив... Опять разрыв двух миров, опять отходящее старое теснит возникающее юное, опять две нравственности с ненавистью глядят друг на друга“..,

Это—слова самого Герцена в позднейшем предисловии к сценарию „Вильяма Пенна“; но та же основная мысль сопровождала и зарождение этой драмы, как это можно видеть из сохранившегося отрывка письма Герцена к Витбергу от 18 апреля 1839 года. „Мое поэтическое настроение не истощается,—пишет Герцен *),—начата новая поэма: *Вильям Пенн*, то есть уже не христианство в зародыше, не христианство, как религия мистическая, поэтическая, восточная, какою оно является с апостолом Павлом в Рим (Лициний),—но христианство, как религия социальная, прогрессивная, одним словом квакерство“... Но попрежнему здесь будет и проповедник-апостол—сапожник Фокс, родоначальник квакеров; попрежнему будет здесь и воскрешаемый им к новой жизни юноша, Вильям Пенн—он же Лициний, он же Герцен. Есть однако и разница, которую подчеркивает сам Герцен: мотивы *социальные* выступят здесь на первый план и перебросят этим мост от драмы мистической к драме социальной, которую Герцену еще суждено будет не написать, но пережить...

Все это можно было до сих пор заключать по восстановленному Герценом сценарию драмы. Сценарий этот считался всем, что осталось от второй драмы Герцена; но в архиве А. Н. Пыпина сохранился список этой пьесы, написанной (как и „Лициний“) „пятистопным ямбом“. Известна судьба обеих этих драм—о ней рассказал сам Герцен. „В 1839 или 1840 году я

*) Подлинник по французски: привожу в переводе. Кстати заметить—из даты этого письма ясно, что „Вильям Пенн“ начат и написан в 1839 году (а не в 1838-ом, как утверждает в других позднейших местах сам Герцен).

дал обе тетрадки Белинскому и спокойно ждал похвал. Но Белинский на другой день прислал мне их с запиской, в которой писал: „вели, пожалуйста, переписать сплошь, не отмечая стихов, я тогда с охотой прочту, а теперь мне все мешает мысль, что это стихи“... Убил Белинский обе попытки драматических сцен!“ („Былое и Думы“, гл. XVI). И в примечании к восстановленному четверть века спустя сценарию обеих пьес Герцен тоже вспоминает, как Белинский „просил переписать стихи *в строку*, чтобы нельзя было заметить, что они писаны рубленой прозой на менер стихов“; этим Белинский „безжалостно убил“ и Лициния, и Вильяма Пенна.

Теперь, когда мы имеем возможность ознакомиться с подлинными „стихами“ Герцена, можно убедиться, насколько был прав Белинский в своем безжалостном приговоре. Действительно, „пятистопный ямб“, герценовскаго „Вильяма Пенна“—простая рубленая проза, неуклюже вдавленная в ямбический размер. Достаточно привести хоть один пример, в роде следующего:

...Я видел их житье-бытье
При Иакове, покойном короле,
И волос становился дыбом у
Меня. Нам в голову с тобою не
Придет, что ежедневно делают
Они...

Эту невозможную рубленую прозу Герцен наивно считал пятистопным ямбом, добродушно полагая, что „пятистопный ямб,—дело человеческое“... Правда, это были „первые стихи с 1812 года“, писанные Герценом; но к счастью первые его стихи оказались и последними: он вполне подчинился приговору Белинского и никогда больше не пробовал писать стихами. Итак литературно-художественное значение „Вильяма Пенна“—совершенно нулевое, если не отрицательное; но это не мешает, повторяю, иметь этой пьесе, подобно „Лицинию“, большое значение историко-литературное. Остановившись

подробно на первой драме, мы подробно остановимся и на второй.

III.

„Вильям Пенн“—„сцены в стихах“—распадается на три действия или „отделения“, каждое из двух или трех сцен, и каждое под особым заглавием. Действие первое—„*Пролетарий*“. Сцена первая происходит в 1650 году, в Лейчестере, в подвале сапожника. Величайшая бедность; на соломе в углу лежит больной ребенок—сын сапожника; в подвале холод, стужа—и нет дров, чтобы затопить печку. Сапожник надеется купить самое необходимое—

Когда заплатит долг
Пастор. Да что ты давича к нему
Ходил, что-ж он?—

спрашивает сапожник своего подмастерья Жоржа. Тот рассказывает:

Прогнал меня и разругал.
Я говорил ему: помилуйте,
У нас нет дров, сегодня день торговый
И надо бы для праздника купить
Говядины. Но он ответил мне:
„Не знаешь развѣ, скот, что по субботам
Я предики пишу всегда? Осел,
Пришел мешать с своими пустяками,
И нить мне мыслей перервал!
Разве не знал хозяин твой
Вчера, что дров не будет у него?
И попоститься завтра не беда!“
Потом с сердцами дверь захлопнул он
И запер изнутри, ворча сквозь зубы.

„Сапожник, слушавший весь рассказ скрестив руки на груди и меняясь в лице, говорит громко и отрывисто и под конец с каким-то восторгом“:

Он пишет предику, он пишет предику.
А сын мой осьмилетний с холоду,
Быть может, околеет; а мне
Куска нет завтра перкусить *);
Ему, вишь, помешали мы!
О милосердии, конечно, он
Писал, наемный проповедник,
Торгаш даров Святого Духа!
Не милостыню, а свои я деньги
Просил, и тут осмелился он выгнать,
Осмелился не дать—слуга Христов!
Они служители Ваала, не
Христа. Позор на них, на фарисеев.
Мы помогли им иго папства свергнуть.
Нужна была тут грудь власатая
И жесткая рука простолюдина;
Тогда ласкали нас, а вышло что-ж?
Себе они искали прав, искали,
Чтоб им из десятины беззаконной
Дележки с Римом не чинить, а брать себе:
Теперь не нужны мы, опять мри с голоду
Простолюдин!

Здесь уже ясно проявляется «христианство, как религия социальная, прогрессивная»—и в этом сущность второй драмы Герцена; сапожник говорит однако то самое, что пятнадцатью веками ранее говорили пролетарии того времени—«чернь спартаковская».

И утро скоро, скоро уж займется,
Уж петухи не раз кричали громко.

---

*) „Перкусить“—сокращение, согласно просодической теории Шевырева, усиленно развивавшейся последним в тридцатых годах. Следуя Шевыреву, Герцен сокращает „в сам-деле“ („в самом деле“), „перкусить“ и т. п. Еще в восьмидесятых годах это пробовал привить в стихах К. Случевский, но высмеивал Надсон и мн. др.

(пауза).

Нам нет досуга помолиться Богу,
Мы сутки целые должны работать,
Чтоб хлеб иметь насущный:
Есть для других науки, книги,
Досуг, чем хочешь заниматься,
Для них раскрыт весь мир Господень,
И от избытка притупились их
Желанья вялые. А нам что на
Замен всего ограбленного дали?—
Работу тяжкую и униженье.
Кто наделил землею их?
Да кто-б ни наделил, какое право
Имел над Божиим созданьем он?
Все эти лорды, сиры, камергеры
Лакеи подлые, и больше ничего.
Награбили откуда денег тьму такую?
Полгосударственных доходов,
Исторгнутых с клоками мяса
У бедняков, у поселян, им в дар
Идут, а на два пенса пользы нет
От всех...
А на другую половину денег
Солдат содержат, чтобы нас душили,
Чтоб лили кровь таких же христиан,
Как ты и я; ну мудрено-ль, что при
Таком премудром управленьи
Мрет с голоду честной и добрый гражданин!
А представители Христа молчат—
Епископы, Искариотские Иуды...

Но теперь эти фарисеи не обманут больше народ; теперь народ сам читает Евангелие на своем родном языке и разберется в «глупых обманах» и проделках фарисеев:

Чего хотел Христос, теперь мы знаем,
Ведь английской язык уж не латынь—
— Хотел, он братства, равенства, свободы,
Хотел, чтоб не было богатых вовсе,
Хотел, чтоб бедным слезы отирали,
Хотел, чтоб все любили всех;
А вместо этого под именем
Божественнымъ Христа Спасителя

Устроили порядок нам прекрасный
Монахи римские и лорды,
Камер-лакеи, чуждые народу,
Которые народа не спросясь,
Явились представлять его пред троном.
Египетский пора окончить плен,
Израилю пора проснуться,
И утро радостного дня
Для искупленья от цепей
Займется скоро,—уже петухи
Не раз кричали, громко, громко!.. *)

Сапожник вырастает в проповедника и пророка; вероятно те же речи говорил народу и апостол Павел, когда входил в Рим и воскрешал Лициния... Христианство не спасло мира: через полторы тысячи лет после Павла снова идет борьба между патрициями и плебеями, снова «грудь власатая и жесткая рука простолюдина» ведет борьбу со старым Римом на новой почвѣ. Само христианство извращено и постепенно подготовляется разложение уже не римского, а христиано-европейского мира; бедный сапожникъ, сам того не зная, является одним из грозных memento mori для европейского общества и его социальных форм. Подмастерье Жорж видит в сапожнике пророка и учителя: «ты не для шила родился в свет», говорит он ему и советует пойти в солдаты и пробить себе дорогу в жизни. Но сапожник не хочет сражаться этим оружием:

Не меч вручил нам Бог, а слово,—
Оно врожденное, святое право,
И мощь его обширна, велика.

Между тем стучится в дверь и входит ободранный и дрожащий от холода нищий, он болен и второй день ничего не ел. У сапожника ничего нет, но он оставляет у себя нищаго, делится с ним скудным ужином,

*) Некоторые строки Герцен вычеркнул, другие вписал. Я привожу первоначальный текст, как наиболее полный.

предлагает ему ночлег и отдых. Нищий тронут, плачет: «ты душу отогрел больную,—и ей ведь надо подаянье». Он хочет знать имя хозяина, чтобы поминать его в молитвах, и сапожник, пожимая руку нищему, называет себя: «Карл Фокс, раб Божий»! Этим заканчивается первая сцена, и мы узнаем, что пролетарий-сапожник—историческое лицо, Фокс, родоначальник общины квакеров *).

Вторая сцена происходит десятью годами позднее, на дороге от Лейчестера в Лондон. Под деревом лежит больная старуха нищая, слепая; тут же присели отдохнуть Фокс, теперь уже бродячий проповедник и его ученик Жорж. Нищая разсказывает о своих злоключениях, о гибели сыновей на войне, о несправедливых притеснениях лордов. Проезжают охотники, глумятся над старухой; скачет юноша—сын лорда Пенна, Вильям, и не хочет остановиться, подать милостыню: скучно искать кошелек, он далеко его засунул... Фокс схватывает коня за узду и произносит горячую реч о жестокосердии богатых. Юноша бьет его хлыстом, но потом раскаивается, бросает горсть денег на землю старухе и даже, под влиянием укоризненных слов Фокса, соскакивает с коня, подбирает разсыпанные деньги и дает их слепой. Фокс тронут, и они разстаются друзьями с Вильямом Пенном, чтоб увидеться еще не один раз.

Третья сцена открывает собою уже второе действие, озаглавленное *Лорд-отец*. Лорд Пенн, отец Вильяма, вернулся в Лондон после пятилетнего отсутствия и успешнаго окончания порученных ему военных дел; его чествуютъ пэры, представители короля, парламента,

*) Фокса звали не Карлом, а Джорджем; случайно или нет Герцен перенес это имя на эпизодическую личность подмастерья. Вообще сам Герцен признавал, что исторической правды нет в его драме: „я плохо знал историю Англии того времени и имел самые общие понятия о Пенне, населившем Пенсильванию“...

города. Входит Вильям Пенн в темной и простой одежде особого покроя, в шляпе с широкими полями и бросается на шею отцу; он молится со слезами, чтобы Бог простил отцу человеческую кровь, пролитую им на войне. «Он сумасшедший!»—мрачно говорит лорд-отец; «нет, он квакер», язвительно отвечает присутствующий пастор. Отец в гневе гонит сына с глаз долой и проклинает его, если тот останется квакером. В это время секретарь приносит письмо к Вильяму «от лорда Букингама»; в письме этом сообщается, что король в виде особой награды лорду Пенну, соизволил сделать Вильяма Пенна «камергером», и что завтра Вильям будет иметь счастье нести шлейф королевы при большом выходе...

Вильям. Принять я не могу—вот мой ответ!
Секретарь *(с ужасом)*:
И это лорду первому министру написать?
Вильям *(холодно)*
Пожалуй хоть второму Карлу *(уходит)*.

Так кончается третья сцена. В четвертой — семейный совет для увещания непокорного сына; но Вильям является не подсудимым, а судьей и обличителем. Сам Герцен указал по этому поводу, что процесс сен-симонистов (Базара и Анфантена) в 1832 году был еще жив в памяти», когда он в 1839 году писал эту сцену суда над Вильямом Пенном. Родные требуют, чтобы Вильям открекся от «лжеучения гнусной шайки сапожника Фокса»; а Вильям требует, чтобы с ним говорили не холодными формулами, а словами сердца:

Вильям. Пилат зла не желал Христу.
Но он был человек холодный,
И на Голгоѳу прямо от него
Пошел Христос. Пилат-же вымыл руки
И верно преспокойно спал ту ночь.
Докт. Теологии. Неведенье писания: землетрясенье было,
И следственно он спать не мог.

Вильям. Хотел сказать я только, что в таких
Делах судей нет хуже, как людей холодных,
Таких, которых колебание земли одно
Из равнодушной косности выводит...

Его убеждают раскаяться, обвиняют «в вредном направлении образа мыслей», а он обрушивается на своих судей, на церковное христианство: «пятнадцать уж веков прошло, как мы окрещены водою,—пора нам духом окреститься, пора пеленки снять... Не стыдно-ль христіанами вам зваться, и не обман-ли то позорный, низкий—с Евангельем в руках теснить милліоны бедных?» Вильям схватывает со стола Евангелие и читает говоря:

Тут ясно все, двусмысленности нет,
Не так, как в вычурных проповедях.
„У верующих всех душа была одна,
Они отдельно не имели ничего,
Все было общее, и между ними
Нуждающійся быть не мог"...
Докт. Теологии. Глава четвертая Деяний—знаю!
Вильям. Вот быт общественный, текущий ясно
Из слов Спасителя...

И Вильям горячо нападает на фарисеев попов и юристов, оправдывающих насилие, богатство, власть—все то, что ниспровергало подлинное христианство. Все в ужасе и негодовании:

Докт. Юриспр. Ниспроверженье humanarum всех
Ac Divinarum, прав гражданских вековых,
Подкоп под быт общественный!
Всегда, конечно, были люди
Мечтавшие о невозможном,
Платон и Томас Морус например...
Но ежели-б вы вникли, лорд,
В науку прав и Corpus Juris прочитали...
А это явный бунт, возстановленье
Плебеев, пролетариев против сената,
Восстановленье сына на отца.
За это diminutio capitis
В законах даже децемвиров...

Вильям. Не верю той науке я,
Которая цветет меж Каракаллой
И отвратительным паденьем Рима!
Предсмертное они могли боренье
Искусственными формами продлить
Преступной и развратной воли,
А не грядущим поколеньям дать
Незыблемый закон и право.
И что у вас права? — Капканы, чтоб ловить
Людей неосторожных, вы которых
На преступление зовете сами
Общественным нелепым учрежденьем.
Топор и бич—вот ваше право,
И судьи ваши—палачи, от короля
До волостного Альдермана!..

Вильяма прерывают, ему угрожают лишением наследства, изгнанием, позором: «подумайте, вед вы лишаетесь всех титлов, сир»...—«Не всех—я человек»,—гордо отвечает Вильям. Все покидают его, а на дворе толпа народа встречает его свистом, ругательствами, грязью и камнями...

Пятая сцена—смерть лорда-отца *); его окружают жадные наследники. Но он допускает к себе Вильяма, примиряется с ним и умирает, оставляя сына наследником всех своих богатств.

Третье действие носит подзаголовок *Вильям Пенн.* Сцена шестая—разговор старика Фокса с Вильямом, теперь уже богатым и самостоятельным человеком. Вильям говорит, что почва Англии и Европы отравлена, что для создания царства равенства, братства и любви надо искать новый мир; он видит неизбежный распад старой Европы и ищет новой земли обетованной... Он так говорит о временах реформации и ослабления папства:

Когда второй раз одряхлевший Рим
В предсмертную впадал свою болезнь

*) В оригинале здесь недостает трех листков.

И связи рваться начали Европы,
Сколоченной насильем кое-как,
И части, спаянные неповинной
Народов кровью, расторгались —
Казалось, рухнуться готов был мир...

Но именно в это время, когда старый мир, казалось, погибал, был открыт мир новый—Америка, обетованная земля для Вильяма Пенна. Туда хочет он перевезти толпу людей, «обиженных древним миром», там он хочет основать новую общину, мир равенства, любви, братства:

Вильям. Мех для нового напитка новый
Взять Бог велит, чтоб древо юное
На девственной земле взрасло
Без ядовитых старых соков
Развратной Европейской почвы...
Фокс. Не та-ли же развратная Европа
Тебя вскормила на груди своей?
Не принесешь-ли ты туда с собой
Начало заразительных болезней?
Ты вспомни, что в плену рожденные
Страны обетованной не видали;
Они, сам Моисей—нечисты были,
Им рабство запятнало душу,
И Иегова их схоронил в пустыне...

Однако Вильям Пенн верит в возможность новой жизни на новой почве, и Фокс благословляет его идти в лохмотьях нищего по миру проповедать желающим исход из Европы: «и нищим нищий ты скажи о новом мире, их зови туда»... Вильям со слезами бросается ему на шею:

Вильям. Иду, иду, благослови отец!
Фокс. О, горько, горько мне с тобой расстаться!

Здесь конец шестой сцены—и в то же время конец рукописи Герцена; дальнейшее не сохранилось, и мы можем восстановить конец драмы только по позднейшему

сценарию. В седьмой сцене *)—Пенсильвания; Вильям Пенн уже дряхлый старик близкий к могиле. Жизнь кипит в новом краю, растут деревни и города, стучит топор, плуг взрывает землю... Но старый Пенн печален, мечты его юности схоронены. Фокс оказался прав: заразительная болезнь богатства, власти, насилия перенесена колонистами из отравленной почвы Европы; новая община оказалась лишь видоизмененным старым обществом. Или, говоря позднейшими словами Герцена («С того берега»)—«Вильям Пенн вез с собою старый мир на новую почву; Северная Америка—исправленное издание прежнего текста, не более»... Новые постройки из старого кирпича...

Наконец, эпилог ко всей драме,—который сам Герцен называет «чисто французским финалом»: в восьмидесятых годах XVIII-го века на могиле Вильяма Пенна стоят три путника, пришедшие поклониться его праху. Это—Вашингтон, Франклин и Лафайет, граждане Северо-Американской республики. Утешение плохое, если иметь в виду, что все эти три великих деятеля заложили и укрепили фундамент старого здания в Новом свете...

IV

Перед нами прошли обе драмы Герцена—обе части его «Палингенезии». О художественной стороне ее мы не распространяемся, так как теперь слишком очевидно, насколько справедлив был суровый приговор Белин-

---

*) По сценарию Герцена—это сцена шестая, в виду того, что сцены четвертая и пятая слиты им в одну. Есть и еще кое-какие ошибки и пропуски в сценарии, но не представляющие особой важности.

ского *); но это не отнимает величайшего интереса от неудачно осуществленного замысла Герцена. Задача была титаническая, под-силу только гениальному художнику; крушение старого и зарождение нового мира—тема мировая, громадная. Но будем судить не осуществление, а замысел, достаточно ярко выявленный в двух частях «драматической фантазии» Герцена.

Разложился древне-римский мир, погиб старый Рим. Бессилие и отчаяние в сердцах тех людей, которые поняли, что старое рушится безнадежно. Но есть возможность новой веры, ибо в мир идет новая сила, подымает духом обездоленных, равняет раба с патрицием и делает из «пролетариев» римского государства передовую колонну, авангард нового человечества. Разлагается старый мир, зарождается новый,—но гибнет ряд поколений, которым «нечего делать» среди этой борьбы миров, которые прокляли старое и не дождутся осуществления нового. Рожденные в плену не войдут в землю обетованную; рабство обезкрылило их душу, они будут погребены в пустыне. И лишь немногие счастливцы воскреснут в новой жизни, подобно Лицинию, и пойдут с новой верой в новый мир.

Но вот проходят века, свершается круг времен, и снова прежняя драма стоит перед человечеством. Все усложнилось, обострилось, но снова начинает распадаться старый мир от внутренних противоречий. Власть, богатство, насилие—все возродилось в новых формах, и само христианство, когда-то разрушившее старый мир, стало насилием, богатством и властью; оно извратилось, одряхлело и само уже разлагается в церковных формах. Снова «пролетарий» остался без опоры, и снова

*) Сам Герцен признал это немедленно же. На оригинале «Вильяма Пенна» имеются следующие интересные пометки Герцена. В конце: «Сие писание не апробовано Бароном Упсальским» (т. е. Н. Х. Кетчером); в начале: „Я рѣшительно сожгу этот неудавшийся опыт“...

наростает мировая драма—новая борьба, новое разрушение, новое созидание. Вильям Пенн—один из многих таких борцов; на его примере Герцен показывает и обычный ход борьбы, и ее обычные последствия. Европейский мир болен, но лечить его надо не от'ездом на кораблях в новые страны, не перестройкой здания из старых кирпичей. Нет, надо сжечь свои корабли, надо выжечь в огне новые кирпичи. И вот приходит великая французская революция, сжигает старое, закаляет новое. Да, не и после нее—«мир ждет обновления, потому что революция 89 года ломала—и только, но надобно создать новое, *палингенетическое* время, надобно другие основания положить обществам Европы»,—писал, мы это видели, молодой Герцен. Эти новые основания для Герцена—*социализм*; вот то новое, с чем еще и еще раз «пролетарий» идет в старый мир,—вот последняя, до сих пор, часть трилогии „*Палингенезия*“, которую задумал и осуществил Герцен. Две первые части, „Лициний“ и „Вильям Пенн“, были написаны им в конце тридцатых годов; третья часть была написана самой жизнью в 1848—9 гг. и могла бы быть озаглавлена—„Герцен“. Это была третья драма—драма его жизни...

Прошло уже десять лет после попытки Герцена создать две свои „социально-религиозные“ драмы. Он уже давно освободился от влияния Витберга: «реальная натура моя взяла верх,—вспоминал впоследствии Герцен:—мне не суждено было подниматься на третье небо, я родился совершенно земным человеком»... В начале сороковых годов он отдался одновременному изучению наук философских, естественных, социологических—и во всеоружии выступил на историческую сцену, когда пришел час великой европейской драмы 1848 года, час личной трагедии самого Герцена...

Catilna ante portas! Два раза уже Европа миновала грозу, победила угрозу разложения. В первый раз Рим

пал, но христианство влило новую кровь в тело Европы. Во второй раз собиралась гроза, но «человечество нашло себе кормчего—Христофор Колумб показал дорогу: Америка спасла Европу». Так пишет Герцен в статье «Старый мир и Россия», явно вспоминая две свои юношеские драмы, и продолжает: «и вот, помолодевшая Европа еще раз останавливается у третьего порога, не смея перешагнуть... Она трепещет перед словом *социализм*, написанным на дверях входа. Она думает, что дверь эта должна быть отворена Катилиною, и это правда. Дверь сама собой отвориться не может, она будет отворена Катилиною... и Катилиною, у которого столько друзей, что невозможно их всех передушить в темнице»... Катилина—это „пролетарий“, ибо снова

Нужна тут грудь власатая
И жесткая рука простолюдина...

Catilina ante portas!—и на этот раз он войдет; но когда? где? Да и войдет-ли? Быть может вся Европа наляжет грудью на страшную дверь, задушит в подземной темнице Катилину и сама умрет на его трупе? Вот вопросы, которые стали трагедией жизни Герцена— и не могли не стать: ведь он пережил в Европе февраль 1848 года, но пережил и 15-ое мая, и страшные июнские дни. И затем все покатилось в яму, и великая социальная революция окончилась жалким фарсом Наполеона le Petit... Трудно было не отчаяться в такую минуту—отчаяться если не в будущем, то в переживаемом. Герцен не один раз, надо думать, вспоминал теперь отравленные монологи своего Лициния; и что другое, как не эти монологи можем также вспомнить мы, читая мучительные вопли Герцена—его произведения 1848—52 годов?

На глазах Герцена развернулось действие драмы— борьбы двух миров, и сам он принял участие в этом действии. Новый мир восстал против старого — и был

побежден, затоптан в землю. Правда, хотя социализм лежал тогда под землей—„но не в могиле, а на вспаханном поле"; правда социализм это — „гроза, которую никакая мощь в мире не остановитъ"; но в трагическіе годы реакции эти утешения плохо помогают. Раненый солдат всегда считает битву проигранной — это жизненное наблюдение Л. Толстого в Севастополе оправдалось и на Герцене в Европе. Он в отчаянии сложил руки и, подобно своему Лицинию, с горечью провозгласил, что ему и его поколению «нечего делать»; он звал смерть-успокоительницу и с мрачной радостью провозглашал—„vive la mort"! Он думал, что Европа подошла к своему концу и что наступило уже время разложения европейской цивилизации; надо разрушить ее, чтобы Катилина мог открыть дверь... И с тяжелым удовлетворением повторял Герцен слова своего соратника, Прудона: «ce n'est pas Catilina, qui est à vos portes—c'est la mort"!

„Мы присутствуем при великой драме, — повторяю то письмо Герцена, с которого начал:—для того, чтоб ее видеть, надобно собрать все силы души — у кого нервы слабы, могут идти в поля, в леса. Драма эта не более и не менее, как разложение христиано-европейского мира. О возможности (не добив, не разрушив этот мир) торжества демократии и социализма и говорить нечего. Если считать во Франции 10,000,000 citoyens actifs, то 1 м. падет на 9 ретроградных, состоящих из буржуа, мелких землевладельцев, легитимистов и оранг-утанов. Оранг-утаны, не развившиеся в людей, составляют вообще $^4/_5$ всей Франции и $4^3/_4$ пятых всей Европы... Вот тепер-то Европа несет казнь за аристократию, за развитие одного меньшинства. Сердце кровью обливается, когда смотришь на людей, душой и телом отданных демократии, или па маленькую кучку работников больших городов; но чувствуешь, что это святое меньшинство работает попусту... Я решительно

отвергаю всякую возможность выйти из современного импасса без истребления существующего» (5 ноября 1848 года).

Мы хорошо знаем теперь, что Герцен ошибался, что «святое меньшинство» работало далеко не «попусту», что не прошло и полвека, как «меньшинство» это превратилось в громадную организованную силу. Но не забудем, что раненый в битве солдат всегда считает ее проигранной—и войдем в трагическое положение человека, потерявшего в этой битве *все*: надежды молодости, веру в человечество, чаяния в светлый день обновления мира. Как смертельно раненый, метался Герцен по всей Европе, нигде не находя себе пристанища, успокоения, веры, дела... «Теперь—*делать нечего*. Да, нечего—и это худшая кара, которая может пасть на людей... Бедные, несчастные! Фатум призвал нас быть страдательными свидетелями позорной смерти нашего отца, и не дал никаких средств помоч умирающему, даже отнял уважение к развратному старику. А между тем в груди бьется сердце жадное деяний и полное любви... Темная ночь,—потерявшая последние лучи заходящаго солнца и не нашедшая алой полосы на востоке»... Кто говорил эти слова—Лициний или Герцен в последних строках главы «Эпилог 1849 года»? И мог-ли Герцен предвидеть десятью годами ранее, что трагедия Лициния станет так скоро трагедией жизни его самого?

Но судьба не осталась немилостивой к Герцену до конца. Прошло пять тяжелых лет мучительной летаргии, и Герцен, подобно Лицинию, воскрес к новой жизни и вере, подобно Вильяму Пенну нашел новый мир. Этой Пенсильванией для него, как известно, стала Россия; этой новой верой—вера во внутренние силы народной, общинной Руси. Вот где та дверь, через которую Катилина войдет в Европу! Общинный коммунизм русского крестьянина—вот, что явится первым зерном будущего

коммунизма Европы, вот что довершит разложение западно-европейского мира и создаст на развалинах его новый мир демократии и социализма! Когда?—не все-ли равно! Важно то, что снова есть возможность работать во имя прежнего идеала, снова есть вера в победу нового мира, снова возможна борьба, снова жизнь! Начинается яркая и мощная работа Герцена с 1854—5 г.: «Полярная Звезда», «Колокол», освобождение крестьян, предполагавшиеся «великие» реформы... Лициний встал и с новой верой пошел в новый путь.

Но не привел-ли этот путь Герцена к тому-же, к чему пришел и его Вильям Пенн к концу жизни? Да, Россия шестидесятых годов оживает, работа кипит, стучит топор и валит старые деревья, плуг взрывает землю и поднимает новь; но эта работа не приведет-ли в своем развитии русскую общину к формам старого общества Европы? Не построит-ли она новое здание из старого кирпича?—Если-б Герцен дожил до преклонных лет Вильяма Пенна, то он увидел-бы, какой горячий спор возник вокруг этого вопроса в конце XIX века, спор, который разрешит сама жизнь. Во многом бы он разочаровался, но многому-бы и порадовался, и никогда-бы уже не впал в то отчаяние, которому он отдал дань в тяжелые годы первой схватки новаго мира со старым. Новое победит—и этого достаточно. «Настанет весна, молодая жизнь закипит на гробовой доске, варварство младенчества, полное неустроенных, но здоровых сил, заменитъ старческое варварство; дикая, свежая мощь распахнется в молодой груди юных народов и начнется новый круг событий и третий том всемирной истории»... Этот третий том — социализм. Но и на третьем томе не остановится история, не прекратится борьба нового со старым, «corsi e ricorsi старика Вико»... И вместо трилогии «Палингенезия» будущему художнику придется создавать мировую тетралогию.., Так думал Герцен, так верил он.

И вот мы читаем теперь предисловие к этому третьему тому. Страницу за страницей перелистывает жизнь—но страницы всемирной истории читаются годами и десятилетиями. Нам кажется, что это слишком медленно, ибо масштаб наш—человеческая жизнь; но у человечества масштаб иной. Два первых тома — два тысячелетия жизни мира; и мы подошли теперь к концу второго, к началу третьяго, продолжая читать начатыя Герценом строки. Содержание всюду одно—борьба двух миров, разложение старого, зарождение нового, «Палингензия». Умирает Рим, но «пролетарий» с тяжелой борьбой вносит в мир христианство—это первая часть трилогии, и Герцен пишет своего „Лициния“, пусть слабого по исполнению, но большого по замыслу. Проходит много веков. Умирает неудавшееся христианство, гибнут феодальные формы, рождается независимая мысль, находит спасение на девственной почве нового мира, „пролетарий“ уходит туда, „Америка спасает Европу“— вот вторая часть мировой драмы, и Герцен откликается на нее «Вильямом Пенном». Снова проходят века. Умирает современная Европа в тщетной борьбе с «пролетарием», гибнет сословный строй, социализм при дверях, Catilina ante portas, победа будет за ним раньше или позже— эту последнюю часть трилогии, по крайней мере пролог к ней, написал Герцен всей своею жизнью.

Так драма жизни Герцена неразрывно и тесно переплелась с его юношескими драмами; так сама жизнь окончила незаконченную им трилогию.

1912.

Герцен и революция 1848 года.

1848 год был для Герцена годом глубочайшего внутреннего кризиса. За год до февральской революции приехал он в Европу,—отдохнуть от жизни в николаевском застенке, обновить свою душу впечатлениями свободной жизни, смутными мечтами о свободе народов...

Поеду! Что-то будет там?
Не знаю! верю! но темно
Грядущее перед очами,—
Бог весть, что мнѣ сулит оно!
Стою со страхом пред дверями
Европы...

Слишком известно, чем встретила его Европа. В первых же письмах из Франции Герцен писал своим друзьям об язве «мещанства», о той роли, какую играет «буржуази», о той нивеллирующей плоскости, к которой ведет страну правящее ею сословие, заражающее своим духом все сословия, все классы, все общество, весь народ. Все это он высказал еще в 1847 году в «Письмах из Avenue Marigny», напечатанных тогда же в «Современнике» и вызвавших большой спор между ним и его друзьями *). Вялая скука охватила Герцена в Париже, он бежал от нее в Италию.

---

*) Спор этот отразился и в печати: в последнем годовом обозрении Белинским русской литературы (за 1847 год). Но самая интересная часть спора сохранилась в письмах Белинского к Боткину от декабря 1847 г. и в интереснейшем письме Герцена к Грановскому и московским друзьям из Рима от 30-го января 1847 г.

Но вот наступил 1848 год, и вскоре раздалась по всему миру «громовая весть о 24-м февраля». Незачем рассказывать, с каким восторгом полетел Герцен обратно в Париж, как сразу поверил в «возрождение» французского народа, какое горячее участие принял в длительной борьбе, с каким ужасом пережил июньские дни и кровавую победу ненавистной ему «буржуази» над народом. Победа была настолько полная, что не прошло и двух-трех лет, как на месте предполагавшейся «République universelle et sociale» воцарился третий и последний Наполеон. Незачем рассказывать также о томительном отчаянии Герцена, о крушении всех его надежд, о потере им всякой веры в будущее Европы,—все это с гениальной силой высказано им сперва в книге «С того берега», в «Письмах из Франции и Италии», а позднее в «Былом и Думах». Но тем интереснее услышать эти же его думы и чувства не в литературной обработке, а в свободном и непосредственном рассказе, в его письмах той эпохи к далеким московским друзьям. Одно письмо особенно интересно; оно написано из Парижа 5—8-го ноября 1848 года и адресовано московским друзьям—Грановскому, Коршу, Кетчеру, Сатину. Письмо это посылалось не по почте, а «с оказией»; Герцен поэтому мог говорить свободно и доверить письму то, чего никогда не написал бы по почте, имея в виду Шпекиных николаевского времени. Привожу наиболее интересную часть этого лежащего передо мною в списке письма, которое вполне ярко обрисовывает взгляды и мнение Герцена в этот тяжелый для него 1848 год.

«Здравствуйте, господа друзья,—ну, как вас Бог милует?—начинает Герцен это письмо.—А что до нас касается, мы вчера в пушку палили на радостях, что собрание осупоросилось плюгавой конституцией, которая, божией споспешествующей милостью, году не продержится. Теперь мы поджидаем 10 декабря,—встречать достойного презуса уродливой республики, косого кретина

Луя Бонапарта. Республика, которую грудью кормили сифилитический Кавеньяк и меркуриальный Марраст, не имеет права на иного президента, если она так глупа, что не понимает, что президента вовсе не надо. Там-то вам издали все представляется couleur rose оттого, что у вас абсолютный срам и запустение, а посмотрели бы вблизи, как дела идут» *).

И Герцен продолжает, переходя из иронического тона в серьёзный: «А в сущности дела идут недурно. Мы присутствуем при великой драме; для того, чтоб ее видеть, надобно собрать все силы души: у кого нервы слабы, могут итти в поля, в леса. Драма эта не более и не менее, как разложение христиано-европейского мира. О возможности (не добив, не разрушив этот мир) торжества демократии и социализма и говорить нечего **). Если считать во Франции 10,000,000 citoyens actifs, то 1 м. падет на 9 ретроградных, состоящих из буржуа, мелких землевладельцев, легитимистов и оранг-утанов. Оранг-утаны не развившиеся в людей, составляют вообще $^{4}/_{5}$ всей Франции и $4^{3}/_{4}$ пятых всей Европы. Suffrage universel,—последняя пошлость формально-политического мира,—дала голос оранг-утанам, ну, а концерта из этого не составишь...»

Интересно отметить, что̀ эти мысли о «вреде» всеобщего голосования носились тогда в воздухе и были достоянием очень многих радикалов и социалистов; интересно, что молодой Чернышевский почти в то самое время, когда Герцен писал это письмо, записывал в своем дневнике то же самое мнение о suffrage universel

---

*) Герцен предсказал верно: и Луи Бонапарт был выбран 10-го декабря президентом республики, и конституция, выработанная национальным собранием, оказалась очень недолговечной.

**) Это—постоянная и давнишняя мысль Герцена о борьбе двух миров, как содержание драмы всемирной истории (см. об этом выше статью «Драмы Герцена»).

(см. «Современный Мир», 1912 г., № 3-й стр. 166-я). Только Герцен выражался ярче и резче, подвергая переоценке все социально-политические ценности христиано - европейского мира, осужденного на гибель...

«Вот теперь-то Европа—продожает Герцен—несет казнь за аристократию, за развитие одного меньшинства. Сердце кровью обливается, когда смотришь на людей, душой и телом отданных демократии, или на маленькую кучку работников больших городов, но чувствуешь, что это святое меньшинство работает попусту: из вершин общества европейского и из масс ничего не сделаешь; к тому же оба конца эти тупы, забиты с молодых лет, мозговой протест у них подгнил,—ну, оно и не берет. Я решительно отвергаю всякую возможность выйти из современного импасса без истребления существующего. Легко может быть, что демократическая партия (которая страшно усилилась после июньских дней в смысле чисто политическом, а не социальном) одолеет и истолчет в ступе весь ретроградный мир, но для того, чтоб вышло что-нибудь, надобно истолочь и их самих да и выбросить куда-нибудь в море. Демократы здешние (во главе которых теперь Ледрю-Роллен) только и годны на то, на что годны солдаты Иеллачича - сломать, избить до тла ветхое здание.—Убедитесь вы в этом ради вашего совершеннолетия»...

Так разочаровался и отчаялся Герцен в европейском обществе от его вершин до низин. Но тут же он спешит подчеркнуть, что это разочарование и отчаяние не имеет ничего общего со славянофильскими выкриками о «гниении» Европы. Впрочем общее-то, конечно, есть, но общее только в одном отрицательном тезисе, а не в положительных выводах:

«Но если это так, то следственно ты сделался славянофил?—Нет. Не велите казнить, велите правду говорить. Из того, что Европа умирает, никак не следует, что славяне не в ребячестве. А ребячество здоровому и

совершеннолетнему также не среда, как и дряхлость. Европа, умирая, завещает миру грядущему, как плод своих усилий, как вершину развития—социализм. Славяне an sich имеют во всей дикости—социальные элементы. Очень может быть, не встреться они теперь с Европой социальной, и у них коммунальная жизнь исчезла бы, так, как у германских народов. Натура славян, в развитых экземплярах, богата силами как неистощенная почва; эти развитые экземпляры—ручательство прекрасных возможностей; но действительность бедна. Гнилой плод так же нездоров, как неспелый. Наконец, временная случайность (элемент несравненно более важный в истории, нежели думает германская философия) поставила exempl. gr. Россию в такое положение, что она невозможнее Европы, ей надобно переработать и отречься от двух прошедших—от до-петровского и после-петровского... Signori! как бесит во всем этом, что история—не логика; да, история—Naturgewalt и эмбриология, которая нисколько не заботится о наших категориях. Мы хочем (à la Ketcher) деспотически втеснять добро, прогресс, социализм, а крутой факт уже негодного и еще негодного своенравно повинуется фантазиям и призракам, как старики и дети. Давай Наполеона,—кричит Франция, и будет Наполеон»...

«Прочитавши все это, отдайте Мар. Фед. в архив»,—заключает Герцен; очевидно, архив герценовских бумаг и писем хранился у близкой знакомой Герценов, М. Ф. Корш. Герцен прибавляет, что вместе с этим писмом посылает свою «статейку о том же предмете»,—вероятно, статью «LVII год республики единой и нераздельной», законченную 1-го ноября 1848 *) года и вошедшую впоследствии в книгу «С того берега» (гл. III). «Но в ней еще не все,—замечает Герцен:—я теперь обдумываю посущественнее тот же вопрос и пишу статью под загла-

*) Герцен ошибочно пометил статью «1 октября».

вием «Vixerunt». Отдайте, прочитавши все это, Мар. Фед. в архив». Статья «Vixerunt», законченная 1-го декабря этого же года, во многом развивает те мысли, которые с большей откровенностью были высказаны Герценом в этом его письме к московским друзьям.

Письмо, начатое 5-го, заканчивается 8-го ноября; Герцен боится, чтобы друзья не истолковали неверно его отношение к демократии, к социализму, к революции; он предвидит неизбежность такой революции, которая сметет и раздавит вес современный мир в его современных формах. «Я перечитал написанное и мне захотелось предупредить возможные недоразумения. Победа демократии и социализма может быть только при экстерминации существующего мира с его добром и злом и его цивилизацией: революция, которая теперь приготовляется (я вижу ее характер очень вблизи), ничего не имеет похожего в предыдущих. Это будут сентябрьские дни в продолжение годов. Демократия так, как Іеллачич, с двух концов начала это страшное дело. Старому миру не устоять: демократия c'est l'armée militante de l'avenir, это—«коррозивное начало», о котором толковал Строганов. Да зачем она только разлагающая, dissolvant старого? вероятно, можно об'яснить, но не в том дело,—дело в том, что факт таков. Массы точно так, как славяне, не готовы к гармоническому вступлению во владение плодом цивилизации, но не готовы массы, с другой стороны, и терпеть, особенно в Германии, а потому характер взрыва будет страшный. В 93 году террор и все прочее сделано мещанами и парижанами, вообразите, что будет, когда весь пролетариат в Европе станет на ноги...»

Вот те отрадные и безотрадные выводы, к которым пришел Герцен, переживая в Европе бурный и многоликий 1848 год. Еще о многом пишет Герцен в этом письме,—передает политические слухи и шутки о «Луе Бонапарте», сообщает друзьям, что Тургенев написал

драму («просто об'яденье!»), возмущается «Современником»,—«и что это за свиньи редакторы, как глупо, пошло известили они о смерти Белинского». Все это пересыпано обычными герценовскими bons mots (вроде известия об одном общем знакомом друзей, который все это время в Париже был, «но на трехцветную не гнул и никакого ламартыжничества не чинил»); многое очень интересно в историко-литературном отношении. Но мы не будем останавливаться здесь на всем этом и ограничимся только той приведенной выше частью письма, в которой проявляется отношение Герцена к революции 1848 года.

Отношение это, повторяю, было и отрадное, и безотрадное. Безотрадно было сознавать, что все февральские, майские и сентябрьские жертвы привели только к торжеству «косого кретина»,—«Луя Бонапарта»; но это была частность, мелочь. Безотраднее было думать, что частность эта—следствие более общей и глубокой причины, следствие общего разложения европейской цивилизации, гибели всей «христиано-европейской» культуры. Отрадно было верить, что новое и молодое раньше или позже победит; еще отраднее было надеяться, что победа эта—дело ближайшего будущего. Так, например, Герцен в этом же письме убежденно рассказывает, что «здесь образовалось теперь колоссальное Общество de la solidarité démocratique»...; он уверял друзей, что скоро они «увидят зарево издали»... А таких «колоссальных обществ» в то время рождалось, сколько грибов после дождя...

Но дело не в фактических ошибках Герцена, а в его настроении в эту эпоху. Оно известно и достаточно ярко отразилось в его бессмертной книге «С того берега» и в других статьях и книгах. Временно победило безотрадное, и победило потому, что Герцен счел себя и свое поколение «лишним» в этой мировой драме борьбы двух миров. Старое разлагается и погибает, но еще достаточно сильно, что-

бы десятилетиями давить все новое и зарождающееся; новое растет, но глохнет под гнетом старого мира, и целые поколения еще будут принесены в жертву.

Прошло немного лет, и Герцен нашел «выход из современного импасса». Этим выходом для него была, как известно, вера в Россию, вера в ее «коммунальное начало». Уже в этом письме, от 5—8-го ноября 1848 года, проскальзывают ноты его будущей веры в «славян»; пусть это еще «плод неспелый», но Герцен поверил в быстрое созревание этого плода, поверил еще прежде, чем Крымская война встряхнула и Россию, и Европу. Весь отдался он тогда кипучей «освободительной» деятельности; Россия, мы слышали от него, должна была отречься от двух прошедших, чтобы войти в то новое, что грядет теперь в мир,—и это «совлечение ветхого Адама» происходило, казалось Герцену, в России 60-х годов. И Герцен, восклицавший после гибели своих февральских надежд «vive la mort!», теперь поставил эпиграфом своего «Колокола»—«vivos voco!»

1912.

Герцен о демократии и мещанстве.

(1848—1849 гг.).

I.

Первые годы жизни Герцена за границей — это высшая точка пути его жизненной трагедии; 1848 — 1849 года — апогей ее, после которого начинается уже новая жизнь, новая работа. В этом узле конца сороковых и начала пятидесятых годов сходятся все нити духовной жизни Герцена: запутываются и разрубаются старые, завязываются и протягиваются новые; падает ночь на землю, низвергаются старые боги и смутно начинает брезжить рассвет на востоке.

Сам Герцен рассказал нам об этом в своих статьях и книгах того времени; позднее он описал свои переживания в «Былом и Думах». Но есть и еще ценный материал для характеристики переживаний Герцена этой эпохи — его обширные письма к московским друзьям. В письмах этих, посылавшихся не по почте, Герцен говорил столько же для друзей, сколько и для себя; часто он посылал друзьям целые статьи, впоследствии вошедшие в его книгу «С того берега»; и статьи эти и письма он просил сохранять в «архиве» у близкой его знакомой Марии Федоровны Корш *). Нам не-

---

*) Сестра Е. Ф. Корша, друга Герцена и редактора в то время «Московских Ведомостей».

известна судьба этого архива, неизвестно также, что именно из него перешло (и перешло ли) в Румянцевский Музей, где хранится ряд бумаг Герцена. Но во всяком случае, многие из этих писем уцелели в списках, находящихся теперь перед нами. Здесь мы остановимся на трех письмах Герцена, разделенных друг от друга годом, но тесно связанных и по настроению, и по мысли; в них заключается драгоценная характеристика чувств и взглядов Герцена в 1848—1849 году.

Первое письмо написано из Рима 30—31 января 1848 года и адресовано московским друзьям «Коршу и Грановскому, Кавелину-que». Написанное за три недели до февральской революции письмо это как бы подводит итог всем впечатлениям Герцена за целый год его пребывания в Европе. Как известно, впечатления эти Герцен выразил в своих «Письмах из Avenue Marigny», печатавшихся в «Современнике» 1847 года и в сущности адресованных все тем же московским друзьям (ср. начало первого письма из Avenue Marigny от 12 мая 1847 года, заключающее в себе воспоминание о прощании друзей полугодом раньше «на белом снегу в Черной Грязи»). Об этих письмах «из Avenue Marigny» здесь надо сказать несколько слов, так как о них много говорится в интересующем нас письме из Рима от 30—31 января 1848 года.

В четырех «письмах из Avenue Marigny», от 12 мая, 3 июня, 20 июля и 15 сентября 1847 г., напечатанных в т.т. V и VI «Современника» за 1847 год, Герцен бегло рассказывает о своих путевых впечатлениях. Тут и ироническая характеристика Германии, которую он никогда ни любил за ее «мещанство», «Ordnung und Zucht»; тут и описание нравов парижской прислуги, составляющих такой контраст с образом жизни русской прислуги, забитой крепостной дворни; тут и пересказ нашумевшей тогда мелодраматической пьесы Феликса Пиа «Парижский ветошник»; тут и описание одного

процесса и омерзительного поведения прокурора на нем; но прежде всего и после всего тут — ядовитая и отрицательная характеристика самой сущности французской «bourgeoisie», та самая тема, которая вскоре легла в основу всех взглядов Герцена на европейскую цивилизацию, отравленную ядом «мещанства».

Мовсковские друзья Герцена — Грановский, Корш, Боткин и др. — отнеслись крайне отрицательно и к тону и к сущности этих «писем из Avenue Marigny». Боткин обиделся за «буржуази», будучи сам представителем этого возникавшего тогда в России класса; Грановский назвал тон этих писем «ерническим»; Корш «краснел» от стыда за Герцена, читая эти письма... Это мнение они высказали в смягченном тоне самому Герцену, а в тоне резком поделились им с Белинским, как идейным руководителем того журнала, в котором печатались эти произведения Герцена. Белинский в горячем и замечательном письме к Боткину от декабря 1847 г. всецело стал на сторону Герцена *). «Эти письма, — говорит Белинский про письма Герцена из Avenue Marigny, — особенно последнее, писались при мне, на моих глазах **), вследствие тех ежедневных впечатлений, от которых краснели и потупляли голову честные французы, да и мошенники-то мигали не без замешательства»... Герцен тоже ответил на обвинение друзей в пятом из своих писем, помеченном: «Рим, декабрь 1849 года» ***); но это был его печатный ответ, кроме которого мы имеем еще и непосредственный ответ Герцена друзьям в том письме о котором мы

---

*) См. А. Н. Пыпин, «Белинский, его жизнь и переписка» изд. 2-е, стр. 635 — 639, а также в третьем томе собрания «Писем» Белинского.

**) Белинский был в Париже с конца июля по конец сентября 1847 года.

***) См. его «Письма из Франции и Италии».

уже говорили: в письме, помеченном: «1848 г. 30 января, Roma».

Письмо начинается теплым и дружеским сочувствием Герцена по поводу всех злоключений, выпавших тогда на долю Грановского и москвичей *). Герцен зовет Грановского за границу, восхищается Италией («мы, брат, не знали Италии, мы в ней столько же ошибались по минусу, сколько во Франции по плюсу»); высказав несколько своих впечатлений об Италии, Герцен вспоминает отрицательную оценку друзьями парижских его писем.

«...Крепко оттузили вы меня за письма из Av(enue) Mar(igny) — позвольте речь держать. Во-первых — вы им придали важность, которой в них не было; это шалость à la Reisebilder Гейне, это болтовня à la Диккенс об Италии; я не думал им придать мысль «отчета о Европе». Вместе с письмом я получил Совр(еменник) и там три первых письма; в третьем немного есть искажений, остальные почти целы — я их перечитал добросовестно, имея в виду ваше мнение, — и вывел, во-первых, что вы правы относительно бедности содержания,—я хотел потом писать о многом, но не видавши, что напечатано, это не возможно; но, во-вторых, я полагаю, что для такого легкого произведения достаточно то, что сказано о domesticité и частной прислуге, общие места о России в первом и о Франции в четвертом, чтобы его простить. Конечно, они имеют некоторую бледность от того, что ограниченный в одну сторону, я ограничивался сам в другую; мне кажется, что Боткин нападает по предилекции к Франции, но я не могу согласиться ни с ним, ни с Анненковым, который в последнем письме **) радуется, что французы милые дети;

---

*) Об этих злоключениях см. Барсуков «Жизнь и Труды М. П. Погодина», т. VIII, стр. 374—379 и т. IX, стр. 12—13.

**) Письма из-за границы П. В. Анненкова тоже печатались в «Современнике» 1847 года.

это право похуже, если-б мы в похвалу старику Мильгаузену сказали, что он дитя; Беттина исчерпала пошлость этой роли. А потому-то, что это бессмысленные дети великих отцов, я хожу с непокрытой головой по кладбищу Père Lachaise, и не хочу кланяться с швалью без таланта, без энергии, без правил — называемою французами. Есть у них печальный и заслуживающий сострадания b a s-peuple, но он по образованию не ушел еще за пределы XVI столетия. Остальных можно не токмо au jour d'aujourd'hui не любить, но презирать: что за пустое сердце, что за слабая голова—живут себе на двух-трех нравственных сентенциях и на profession de foi du vicaire savoyard, не замечая, что после Руссо прошли столетия. Ведь нельзя же ни прошедшим, ни будущим задвигать настоящего,—о, как Францию понимал Наполеон и как ее понял на сию минуту Гизо, сей сенский Метерних! Напрасно Боткин думает, что трудность понимать европейскую жизнь происходит от конкретной сложности и полноты; нет, при простом отношении к предмету можно-таки понять, в чем дело. Так же как вообще Европа не может подняться на высоту своей цивилизации—и последняя остается отвлеченной идей и идеалом, вряд-ли исполнимым (история вместо исполнения римского идеала исполнила лонгобардское королевство и христианство) — так Франция ниже своего прошедшего»...

Длинное письмо это—выше приведена только небольшая его часть—заканчивается на следующий день, 31 января (нового стиля): «Сегодня говорят («я говорю» — приписывает Нат. Ал. Герцен), ровно год нашему от'езду *), память Черногрязского прощанья проводит меня до тех пор, пока из меня сделается черная грязь»...

---

*) От'езд Герценов, проводы и прощание друзей в Черной Грязи происходили 19 янв 1847 года. (В «Былом и Думах» ошибочно показано 21 января).

Таким образом письмо это—как бы вывод из всех европейских впечатлений, итог целого года, баланс плюсов и минусов. И как видим—минусы перевешивают. Тяжелое впечатление произвела на Герцена европейская «bourgeoisie», конечно, не как явление социально-экономическое, но как факт социально-этический.

«Да как же это?—возражает себе сам Герцен в 1847 году:—величайшие люди, художники, таланты, ученые... с восьмидесятых годов почти все принадлежат к буржуазии?.—Это ничего не значит; во-первых, в наше время есть множество людей, не принадлежащих ни к какой касте, ни к какому сословию,—всего менее к тому, в котором родились; они просто люди; что было в Пушкине чиновничьего?—а, ведь, он был титулярный советник. Буржуазия не индийская каста. Bourgeoisie n'oblige pas,—можно сказать в противоположность известной пословице; для того, чтоб быть буржуа, недостаточно родиться, надобно им сделаться или, по крайней мере, не сделаться ничем другим; буржуа—тот, кто сознает себя таким, кто ненавидит аристократию в одну сторону и презирает народ в другую...»

Все заражено духовной буржуазностью, «мещанством», и Герцен презирает представителей французского общества за их условную истину и условную мораль, за трусость мысли, за жизнь «на двух-трех нравственных сентенциях». Не экономическое положение французской буржуазии, а ее духовное разложение—вот что останавливало на себе внимание Герцена, вот почему и Белинский одно время говорил о «буржуазии», как о «сифилитической ране на теле Франции». И это духовное мещанство заражает собою все—все общество с верху и до-низу; язва эта неизлечима и раньше или позже приведет к смерти весь христиано-европейский мир. Так думал Герцен и не видел просвета. И вдруг—«громовая весть о 24 февраля»...

II.

Герцен помчался из Италии обратно в Париж. Он воскрес душою, верил в республику, в возможность социального переворота, в обновление буржуазного строя Европы. Прошло четыре месяца—июнские дни 1848 года показали, что революция была сделана ad majorem gloriam все той же буржуазии, что напуганная возможностью социального переворота эта буржуазия готова на все—вплоть до империи Луи Бонопарта. С новой силой отчаяние охватило душу Герцена; он чувствовал все свои надежды обманутыми февральской революцией; он верил, что европейский мир действительно подошел к своему концу. Началась беспощадная переоценка Герценом всех былых его святынь и ценностей—политических, социальных, моральных; это новое подведение итогов мы находим в знаменитой книге Герцена «С того берега». Но в письмах к друзьям еще раньше он высказывал все то, что впоследствии вошло в эту книгу; и вот интересно прочесть теперь то письмо, которое Герцен написал почти через год после приведенного выше; оно помечено «6 сентября 1848 г. Париж». Приводим значительную часть этого обширного письма.

«Опять случай писать к вам,—начинает Герцен,—и опять я готов отказаться от него. Ночь, темная ночь вокруг. Каждый день менее и менее виден выход. Что мы видим с утра до ночи, превосходит человеческое воображение. Я иногда с горькой улыбкой думаю, что вы завидуете нам; издали все кажется иным, а мы здесь a la lettre гибнем от скуки, выдумываем, натягиваем рассеяния—в роде веселого общества Декамерона во время чумы. В 1874 при всей гадости было сноснее, тогда был по крайней мере порядок, к нему можно было примениться,

и требования были не те; четыре первые месяца нынешнего года сгубили нас. Мы так откровенно были надуты фв ральской революцией, мы так гордо и так свободно ходили поднявши голову по улицам Республиканской столицы! И вместо всего этого—зависеть от первого полицейского комиссара, агента, от первого солдата. Бесстыдное собрание вотирует конституцию в Etat de siége, подлое население приготовляется к выборам в то время, когда радикальная партия не смеет назвать своих кандидатов.—Или в скором времени должна кровь литься реками, или на время Франция погибла. Из глубоко выстраданных трех месяцах главные результаты таковы:

«1-е. Что республика, в которой остался монархический принцип в нравах, в законах благопристойнее монархии—а в сущности нисколько не лучше. Франция любит деспотизм, насилие. Ее законодатели выдумали, что suffrage universel все, но что однажды избранное всеобщим избранием имеет всю силу и всю власть султана. После июньских дней, когда Собрание назначило безобразную комиссию—нашлись люди, спросившие, какою же судебною властью она будет пользоваться, и каким формам подчинена? Сенат об'явил, что она облекается властью Собранием—которое, по самодержавию своему, имеет право ее так учредить. Мы наконец опытом и летами совершеннолотни; если это не l'ètat—c'est moi, если это не принцип рабства, деспотизма—то где же он резче высказался? До тех пор, пока правительство будет идти от начала, что salüs populi suprema Iex esto, что лицо ничего не значит, что закон выше лица, что представитель власти выше гражданина, что меньшинство может быть задавлено большинством, если это большинство результат suffrage universel—до тех пор оно будет воображать, что текст закона—догмат, религия, до тех пор оно не станет на ногу отрицательного хранения, а сделается агрессивным, насильственным, монархическим. Все правительства

таковы—в отдельных кантонах Швецарии, и только там можно найти начало иного отношения, да долею в Северо-Американских Штатах. Вы знаете, что ни Швецария ни Штаты в пример не идут. В остальной Европе ни только в самом деле нет свободы, нет гуманного управления, но нет даже пониманья, желанья, нет близкой надежды.

«Я все это говорю не с досады и не с брызгу. Феодальная и монархическая Европа не скоро переродится. Старая цивелизация изобрела формы не столько оскорбительныя, как, напр., у нас; долгая привычка к литературе, например, к обсуждению политических предметов давала в самом Риме Григория XVI и в Неаполе больше воли языку, нежели в Москве;—но это было снисхождение, при первой коллизии—чудовище власти является с цепями и топором. Я раскрываю списки депортированных и нахожу отметки: такой-то, 18 лет, pour ses opinions, très avancèes; нахожу девушку, 20 лет, с отметкой trés exaltèe. Что такое?—Другие лыняли при допросах, эти сказали свое мнение—их за это депортировали.—Открываю процедуру военно-судных комиссий—и нахожу, что один человек отвечал им с благородной смелостью Ранара—он осужден aux travaux forcès á perpetuitè,—вина его никак не больше, как людей, осужденных на пять лет.—Здесь возражение: выгода в том, что это печатается; да, Европа привыкла к этому, ее занимает это—но где нопечатано число расстреленных 26 июня и перебитых около тюрем? Прудон осмелился заикнуться об этом—много взял!—Перейдем в парламент—там на-днях почтенный лорд с негодованием спрашивал у министра—правда ли, что Мичель имеет комнату и что ему дают книги читать. Послушайте, господа, слышали ли вы когда-нибудь что-нибудь подобное этому канибальскому вопросу у нас? Я не слыхал.—Посмотрите, что за роль начинает здесь играть Кавеньяк; он ездит с драгунами, с шта-

бом—и это нравится, да кому же—толпе; а хоть бы и ей, ведь suffrage universel дал ей в руки государство. Вот и выпутывайтесь тут.

«2. Сверх искаженного пониманья всех отношений граждан к власти, пониманья, основанного на монархизме—второе зло, уничтожающее Европу и при существовании которого можно отложить всякую мысль о прогрессе и разумном государстве—это постоянные войска. Они убийственны для права, разорительны для финансов и ненужны для защиты. Здесь из мальчишек делали войско (mobile) в три недели. Во Франции, в Пиэмонте каждый человек солдат когда надобно; Швецария доказала торжественно, что̀ она может, в прошлогодней борьбе с Зондербундом. Corps francs и внутренняя стража, il popolo armato, как говорят итальянцы,—должны заменить армии. Без этого нет шагу вперед. Если будет Итальянская война, если французские войска победят Австрийцев—вот тут будет карачун республики, и мы спокойно в'едем в империю под каким бы именем ни было. Я от души желаю, чтоб французов побили—это их спасет, протрезвит, это уронит военную диктатуру, это их смирит. Австрийцам все же недолго пировать в Италии, у них есть дома du fil á retordre и на единодушии кроатов и маджаров далеко не уедешь. Повторяю, уничтожение постоянных войск, всей солдатчины, point d'honneur'a военного, казармизма, бонопартизма echauffè — должно быть знаменем всякого человека, желающего добра.

«Вот вам еще присказка—к сказке, которую Ан(ненков) везет в тетради. Я очень желал бы знать ваше мнение о новых статьях моих—стоит ли игра свеч, продолжать ли писать их для вас, ибо это пишется не для публики; намекните как-нибудь. При этом я серьезно должен предупредить вас (покажите ему эти строки), чтоб вы были осторожны, слушая повествование Ан(ненкова). Он стал на какую-то странную точку—безразлич-

ной и маленькой справедливости, которая не допускает до него большую истину. Какое-то резонерство и отыскивание об'яснений всему из начал необходимых, благоразумных—так, как некогда Белинский строил Русскую историю и наши нужные места превращал в необходимые.—Ан(ненков) был увлечен первым временем после революции; он еще до сих пор под влиянием его. Я думою, что мы еще при начале революции, он верит, что и это—республика. Мне веселее было бы видеть Генриха V или XV, чтобы опозорить эту республику, чтобы покончить с недорзумением. Он до сих пор защищает пошлую личность Ламартина—а я его ненавижу, ненавижу не как злодея, а как молочную кашу, которая вздумал представлять из себя жженку,—etc. etc. Полагаюсь на его справедливость. Но вас предупреждаю.—Потому что для меня в с е   э т о   н е   ш у т к а, а последняя сущность, пулпа мозга, сердца,—даже рук и ног. (Защищает ли Боткин буржуазию?) Я иногда начинаю мечтать о том, как бы куда-нибудь удалиться, хоть в Кунцово, спокойно, не получать никаких газет, в субботу ждать под вечер вас—выпить с вами бутылку—другую—т р и   в о   л ь д у, благословить судьбу, что мы встретились, что между этими иностранцами, которых называют людьми, мы не растерялись, окружить себя книгами,—ну и что же дальше—и умереть потом без желания жизни и без отвращения от смерти.—Не смейтесь.—Аминь, аминь, глаголю вам—если не будет современем деятельности в России—здесь нечего ждать, и жизнь наша окончена.—«Ich habe gelebt und gelibt!..»

Сперва несколько небольших примечаний к отдельным местам этого замечательного письма. Что это за «тетрадь», которую Анненков должен был отвезти московским друзьям Герцена—мы можем только догадаться; вероятно, это была статья «После грозы», впоследствии вторая глава книги «С того берега«, или

десятое из писем, впоследствии составивших книгу «Письма из Франции и Италии». Содержание и главныя мысли этих статей близко сходятся с сущностью приведенного выше письма, которое составляло, говоря словами Герцена, «присказку к сказке». Оказывается, что статьи эти, впоследствии составившие две книги. Герцен сперва не предполагал печатать и спрашивал друзей—«продолжать ли писать их для вас, ибо это пишется не для публики». Все свои статьи он пересылал (не по почте, конечно) в Москву друзьям и сообщал желающим ознакомиться с этими статьями, что «архив моих бумаг у Мар. Фед.» (т. е. у Марии Федоровны Корш). Лишь год спустя, когда статей накопилось много и когда сам Герцен сознал их большое литературное и общественное значение—он собрал одни из них в книгу «Vom andern Ufer», а другие в книгу «Briefe aus Italien und Frankreich» (1850 г.).

В приведенном письме, наряду с рядом ошибочных суждений, мы находим ряд гениальных прозрений, ясно показывающих, что если Герцен и ошибался в оценке социального потрясения 1848 года, то его политическую сторону он понимал, как никто. Он предугадал итальянскую войну, предугадал победу французов над австрийцами, и предугадал, что в победе этой—„тут-то и будет карачун республики, и мы спокойно в'едем в империю, под каким-бы именем ни было“... Герцен предугадал Луи Бонапарта и укрепление его империи победой над австрийцами; он предугадал, что только поражение французов „уронит военную диктатуру“—что и случилось двадцать два года спустя.

Но главное в письме этом—не в этих политических предсказаниях, а все в том же отношении Герцена к французской буржуазии, которое проявилось в его письмах предыдущего года из Avenue Marigny. Правда, здесь Герцен уже не распространяется об этой „сифилитической язве“ культурного мира, а только в

особой приписке, мимоходом и небрежно-торжествующе спрашивает друзей: продолжает-ли попрежнему Боткин защищать буржуазию? Герцен слишком уверен в своей правоте: события 1848 года показали ему, насколько он был прав годом раньше в своей резко отрицательной характеристике царившего во Франции мещанства—социального и этического. Мещане по своему социальному положению—зверски избивают и расстреливают всех тех, кто осмеливается покушаться на принцип „священной собственности"; мещане по своему духовному состоянию—беспомощно лепечут старые слова о республике, законе, святом долге... Из всех них наибольшее негодование возбуждает в Герцене „пошлая личность" Ламартина, которому он дает верную и уничтожающую характеристику: „молочная каша, которая вздумала представлять из себя жженку"...

1848-ой год подтвердил для Герцена то, что он говорил о „мещанах" в 1847-ом году. А если так—то в Европе делать нечего. Социальная революция не удалась—и в ближайшее время все сторонники ее и нового мира обречены на бездействие. Но уже теперь Герцену смутно представляется пророческая надежда о возрождении России и о социальной деятельности на новой ниве. Но до начала пробуждения России Герцену пришлось еще пережить несколько тяжелых лет в Европе.

III.

Прошел еще год. La République sociale et democratique влачила свои последние дни. Демократы, в расчете на поддержку „блузников" сделали 13 июня 1849 г. попытку народной демонстрации; но „монтаньяры" национального собрания не были теперь поддержаны на-

родом, который хорошо помнил безучастное отношение „горы“ во время кровавых дней июня 1848 года. Герцен против воли принял участие в этой бессильной демонстрации отчаявшихся демократов, а когда они были разогнаны и избиты драгунами, когда после этого снова начались массовые аресты, Герцену пришлось с чужим паспортом бежать в Женеву. Оттуда он и написал своим московским друзьям письмо от 27—28 сентября 1849 года, представляющее громадный исторический интерес и соответствующее написаным позднее XXXVI, XXXVII и XXXVIII главам „Былого и Дум“. Мы приведем здесь главнейшую часть этого письма, как-бы подводящего итог всем надеждам и упованиям Герцена, беспощадно разбитым событиями 1848 и 1849 года.

„Я писал длинное почтовое послание,—начинает это письмо Герцен,—как вдруг представился случай писать иначе. Случаи эти с каждым днем делаются реже—и потому тороплюсь передать все, что вспомню. Глупый день 13 июня, в который парижский народ заплатил „горе“ за июньские дни 48 года, вы знаете. Тогда гора не явилась предводительствовать колоссальным восстанием, теперь явилась гора одна одинехонька, и разбежалась, не родивши даже мыши. Обстоятельства моего от'езда вам также известны; я был с Арнольдом Руге и Блиндом у Торе. Блинда схватили, Руге спасся бегством,—тюрьмы во Франции страшны, беззаконие еще страшнее, я решился убраться, тем более, что для меня 13 июня день презрительный и глупый. Я сделал очень хорошо, ибо на другой день после от'езда моей жены явились au nom de la liberté, égalité, fraternité, жандармы к моей матери, захватили все, что было письменного, даже ноты Рейхеля по дороге, и ничего не найдя—донесли русскому посольству; что̀ донесли, ведает их душа; я знаю только, что посольство написало мне записку, в которой требовало моего появления пред сладкое лицо Киселева. Я притворился, что за-

писки не получал, и живу здесь, пока Бог грехам терпит; реакция начинает и здесь бичевать refugiés (я не принадлежу к ним, разумеется). Куда деться, что впереди—Америка или Англия?—Ничего не знаю. Вот вам повествовательная часть моих похождений“...

И Герцен приступает к оценке тех фактов, очевидцем которых он был за эти два года в Европе. Положение дел, по его мнению, ясно и резко обозначено: „политический мир издыхает, даже нет более интереса к нему... Поправиться дела не могут. Вы никогда с первого раза мне не верили—а между тем я вам прокричал первое „гись, гись“, после 15 мая 1848 года. Люди, стоявшие возле, не хотели понять portée 15 мая; июньские дни им подтвердили“...

„Были минуты страшного отчаяния; особенно эти вести о баденских расстреливаниях, эта подлая, холодная месть прусского кастрата... Но время, время все перерабатывает, и я стал спокойнее смотреть. Со многим надобно примириться, делать нечего, и, отдавая слезу побежденному, не следует однако его пораженья возводить в оправдание. Демократическая страна, или сторона движенья, была побеждена, *потому что она была недостойна победы*, а недостойна победы потому, что везде делала ошибки, везде боялась быть революционной до конца, везде бросалась с яростью на порожний трон и царствовала по своему... Пустым людям, как Ледрю Роллен, Луи Блан—не может удасться революция. Послушайте, господа, я был в соприкосновении, знаком и теперь почти со всеми громкозвучными репутациями трех революций—развалины которых теперь проживают в Швейцарии. Есть люди прекрасные, более или менее умные—это те, которые наименее участвовали в деле, или участвовали без веры. Блинд, бывши в Париже и отправляя величайшего фанфарона в мире, Мирославского, в Баден—не верил успеху восстания в Палатинате и в Герцогстве. Торе, Керсози et C-nie не

верили в 13 июня. Ну делают ли так перевороты? Да и потом—чего они хотели, какие политические перевороты возможны в теперешнее время? Как будто в самом деле достаточно об'явить уничтожение пролетариата, всеобщее воспитание, братство и любовь—чтоб из этого что-нибудь вышло..."

Уже здесь сказывается смелая переоценка всех политических ценностей; но Герцен идет дальше, углубляет вопрос и подвергает беспощадной критике все еще более основные ценности. Недаром здесь-же, в Женеве, немецкий эмигрант Струве, баденский революционер и par dessus de marché френолог, после спора с Герценом на подобные темы, ощупал его голову и торжественно заявил: „Bürger Herzen hat kein. aber auch gar kein Organ der Venerazion". И действительно, „шишки почтительности" у Герцена никогда не бывало...

„Грядущая революция—продолжает Герцен свое письмо к московским друзьям—должна начать не только с вечного вопроса собственности и гражданского устройства, а с нравственности человека; в груди каждого она должна убить монархический и христианский принцип; все отношения людей между собою ложны, все текут из начала власти, все требуют жертвы, все основаны на вымышленных добродетелях, обязанностях. Конец политических революций и восхождение нового миросозерцания—вот что мы должны проповедывать. Но для этого, cari miei, надобно оторваться не на словах, не в минуту негодованья, а спокойно и обдуманно от падающего мира... Я попробовал эту проповедь, и свободнее от всех преданий европейских, нежели они, пользуюсь всеми средствами нашей натуры. Что-ж из этого вышло? Я очутился через несколько дней в явном разногласии с самыми радикальными органами; заметьте, что успех превзошел мои ожиданья, их даже щекотало мое звание русского, они отдали справедливость „демонической иронии" etc.; но нетолько нет сим-

патии истинной, но даже скорее враждебное чувство, меня признавали как имеющего некоторую силу, но силу разрушающую и негодную. Сам Маццини—без всякого сомнения величайший политический человек из всех существующих в наше время, человек с большими талантами, итальянец в роде Прочиды, сметливый, бойкий, привычный к беде и успеху,—морщится и я с ужасом за него видел, что в споре со мной он отворачивался от некоторых истин, и след. касался тех страшных пределов, за которыми и он ретроградный человек"...

Но если даже Маццини не слушал и не понимал Герцена, то „вы в праве спросить,—пишет последний,—кто же с нами на одном берегу?" Немного, но есть,—отвечает Герцен и называет Прудона („имя, стоющее сотни"), Готшалька („высший представитель социализма в Германии"), Бланки, Пьера Леру, Консидерана; в Германии—„многих людей, образованных воззрением Фейербаха"; нескольких итальянцев. „Никогда не было время лучше для того, чтоб поднять русскому голос. Разговоры мои, переведенные мною и некиим Капом, исправленные Гергегом, имели большой успех; они в корректурных листах ходили из рук в руки. Я прибавил большое письмо к Гервегу; все вместе, если успею, пришлю в Гамбург—и на первый случай всем вам 1 экземпляр, потом найду случай переслать и больше; впрочем, вы можете и выписать от Hoffman und Kampe из Гамбурга. Заглавие—Vom andern Ufer. Покажите Петру Яковлевичу, что написано о нем; он скажет: „Да, я его формировал, мой ставленник"... Петр Яковлевич—это, конечно, Чаадаев, духовное родство со взглядами которого признает здесь сам Герцен (об этом вопросе см. мою „Историю русской общественной мысли"); взгляды Чаадаева, на прогресс во многом отразились в книге Герцена „С того берега".

И все-таки попрежнему, среди отчаяния, безверия, среди попыток новой веры—попрежнему взоры Герцена

от неосвободившейся Европы обращаются к рабской России. „Во всем разгроме и падении—сурово и мрачно вырезывается, как Маттергорн в Валлисе, Россия, каменистое поле будущего; природа не начинает с цветущих лугов, а с гранита. Судьба России колоссальна, но для нас виноград зелен“... В последнем Герцен ошибся: ему и его поколению пришлось еще принять участие в освободительной работе шестидесятых годов, пришлось еще поднимать новь на каменистой почве России. И за два года до своей смерти, в эпоху русской реакции конца шестидесятых годов, Герцен имел право с горем, но и с удовлетворением заявить: „Россия глуха, (но) посев сделан, она прикрыта навозом—до осени делать нечего“... Молодые всходы поднялись, когда Герцена давно уже не было в живых; но умирают люди, а не идеи. „Идея не погибнет,—писал тогда-же Герцен:—мы ранние сеятели, ничего из нашего посева не пропало, но растет и пробивается“... Не погибнет и тот посев, который сделал Герцен в своих письмах 1848—1849 г.г. и в книге „С того берега“. То, что сеял Герцен в своем „Колоколе“—было временным и злободневным; то, что высказал он в письмах и статьях конца сороковых годов—останется вечно истинным при всяком правительстве, всяком социальном строе. „Демоническая ирония“ Герцена делает его страшным для всякой догмы, будь она республиканская или монархическая, буржуазная или социалистическая. Мыслителя свободнее Герцена—нет в русской литературе, и немного их в литературе мировой.

1912 г.

Два пути.

В 1911 году мы праздновали столетний юбилей со дня рождения Белинского; годом позднее—такой же юбилей Герцена; в 1913 году исполнилось сто лет со дня рождения близкого друга их обоих—Т. Н. Грановского.

Не случайное это сопоставление имен: во всей русской литературе и общественности мало найдется столь резких контрастов, как Герцен или Белинский с одной стороны, и Грановский—с другой, хотя все трое принадлежали к одной и той же „партии“, к одной и той же группе „западников“ среди русской интеллигенции, Не в партиях тут дело. Белинский и Конст. Аксаков принадлежали к разным партиям, были с начала сороковых годов в резко враждебных отношениях—и, однако, недаром К. Аксакова называют „Белинским славянофильства“: оба они вечно горели, вечно кипели; идейные враги были родными по духу. Грановский—наоборот: идейный друг Белинского и Герцена начала сороковых годов, он был всегда чужд им по духу, был враждебен им по самой сущности своей натуры.

„Грановский есть первый и единственный человек, которого я полюбил от всей души, несмотря на то, что сферы нашей действительности, наши убеждения (самые кровные)—диаметрально противоположны, так что белое для него—черно для меня и наоборот. Да, это

один из тех людей, с которыми мне всегда и тепло, и светло... Но, Боже мой! Можно ли быть противоположнее в своих убеждениях, как мы и он!"

Так писал о Грановском осенью 1839 года Белинский, переживавший тогда бурную и нетерпимую "ретроградную" эпоху своей жизни. Грановский-же только что вернулся тогда из-за границы, с твердым, ясным и благородным воззрением „либерального идеализма", которое осталось его прочным достоянием на всю жизнь. Разумеется, что „белое" для неистового „ретрограда" Белинского (обожествление „царя", признание крепостного права и т. п.) было тогда „черным" для Грановского, не раз возмущавшегося взглядами Белинского того времени. „Либерал-идеалист" был чужд этим крайностям, этим взглядам и пафосу их выражения.

Прошло два года. Белинский давно отказался от былой своей неистовой „ретроградности" и стал исповедывать новую веру; „я теперь в новой крайности,— писал он в 1841,—это идея *социализма*"... Всем известно, как идея эта заполнила собою существование Белинского начала сороковых годов, и с какою страстью проповедывал он эту новую свою веру. Но их взаимное отношение с Грановским не изменилось. По прежнему „белое" для социалиста Белинского было „черным" для либерального идеалиста Грановского, лишь с другой стороны. Нардничеcкий социализм, зарождавшийся в то время в России, был Грановскому чужд не менее, чем николаевское самодержавие. Ибо здесь столкнулись два психологических типа: *максимализм* Белинского и Герцена был величайшей противоположностью всему строю души Грановского; первые два были глубоко *революционными* натурами, последний был ярким представителем последовательного *либерала* в его лучшем смысле и виде.

Этим все об'ясняется и в судьбе и во взглядах Грановского. Мягкий, женственный, светлый в глубине ду-

ши, он не любил „крайностей“ и не был „человеком экстремы“. С Белинским они не были близки именно по этой причине. Знаменитая ссора между Грановским и Герценом, в 1846 году, тоже произошла вследствие слишком „крайних“ философских и религиозных мыслей Герцена (как он сам рассказывает об этом в „Былом и Думах“, гл. XXXII). Нечего и говорить, что социальная и политическая проповедь Герцена шестидесятых годов вызвала бы еще более отрицательное отношение Грановского, если бы он дожил до нее. Все „революционное“ было ему органически чуждо.

И несмотря на все это, несмотря на то, что дальнейшее развитие русской общественной мысли взяло свое начало именно от „максимализма“ Белинского и Герцена, несмотря на то, что Грановский остался в стороне от большой дороги нашей общественности, что „либерализм“ не дал ни одного крупного имени, которое могло бы соответствовать по своему значению именам преемников Белинского и Герцена,—несмотря на все это,было-бы большой ошибкой недооценить значение Грановского в окружавшей его действительности. Но значение это зависело *не от воззрения*, а лишь *от личности* самого Грановского.

Сила Грановского—говорил Герцен—была „в нравственном влиянии, в безусловном доверии, которое он вселял, в художественности его натуры, покойной ровности его духа, в чистоте его характера и в постоянном глубоком протесте против существующего порядка в России“... Перечтите „Медвежью охоту“ Некрасова— там эти же слова Герцена облечены в художественную форму.

Воплощенной укоризною
Честен мыслью, сердцем чист,
Ты стоял перед отчизною
Либерал-идеалист...

В этом—значение его; не исповедуемой веры, а исповедающей личности. Немного таких чистых либералов-идеалистов, целая эпоха родила только одного такого,—и именно это вспоминаем мы в нем теперь, чествуя его память. Но, воздавая „ему же честь—честь", не будем следовать традициям и во чтобы то ни стало стремиться восхвалять то, что стоит *за* личностью Грановского. Как *личность*—Грановский не умрет в истории русской общественности; это не мешает должным образом отнестись к его *воззрениям*, поскольку они носят общественный характер.

И здесь нельзя и не надо стремиться примирить непримиримое. Надо помнить и знать, что Герцен или Белинский, с одной стороны, и Грановский, с другой—две противоположности, враги по существу, по конечной цели, несмотря на возможность случайного совпадения временных средств и задач. Все это—вечный спор о „максимализме" и „минимализме" среди русской интеллигенции. Вот уже прошло сто лет со времени рождений Белинского, Герцена, Грановского; и как бы ни решался старый спор, но одно бесспорно: Грановский одинок в истории русской общественности. Не его путем пошла русская интеллигенция последующих поколений; его путь—не наш путь.

1913.

«Колокол».

(Победы и поражения).

Шестьдесят лет тому назад, 1 июля (нов. ст.) 1857 г., в Лондоне вышел первый номер герценовского «Колокола». Набат его разбудил все подлинно живое среди русской интеллигенции шестидесятых годов, и еще долго гул его звал на революционную работу одних, пугал и приводил в неистовство других.

Так всегда бывает при звуках революционного набата: появляются «одни» и «другие», в разные времена носящие разные имена...

«Одни» в эпоху Герцена и его «Колокола»—это были революционеры шестидесятых годов, смело пошедшие *до конца*, до гибели, до жертвы во имя великих всечеловеческих идеалов. И почти все *революционеры* эти были *социалистами*, ибо тогда еще не научились разделять этих двух слов, ибо тогда еще не было, наряду с революционным социализмом—социализма мещанского, умеренного, акуратного, рассчетливого и обездушенного, который теперь, через полвека, заслуживает такое сугубое одобрение и поощрение от всех «других», вернее — от всех недругов революционного пути истории.

«Другие» в те времена были подлинными прародителями наших современных «других»: это были все те же «либералы». В самом начале революционного пути они всегда идут хотя и в «легальном отдалении», но все же за революционерами; однако, через немного ша-

гов—пути их резко расходятся. И вчерашние либералы (в роде Кавелина шестидесятых годов, в роде многочисленных Милюковых нашего времени) становятся злейшими врагами продолжающих идти вперед революционеров; вчерашние либералы становятся запуганными и обозленными реакционерами революционной эпохи.

Можно подумать, что речь эта идет о 1917 годе! Нет, она идет вообще о всех годах революций, когда бы и где бы они не происходили. Так обстояло дело и в 1857 г., когда Герцен впервые ударил в набат своим «Колоколом», когда все живое откликнулось на его зов, когда попутчиками его некоторое время были и «одни», и «другие».

Это «некоторое время» было очень коротким временем. Летом 1857 г. вышел первый номер «Колокола», встреченный горячими приветствиями и демократической, и либеральной России; а уже летом 1858 года, через год, между Россией либеральной и демократической произошел разрыв. Либералы стали опасаться слишком быстрого хода России на пути «эмансипации»,— как говорили тогда, демократы решительно стали на путь социализма, на путь революционной борьбы за свободу.

Не время подробно говорить здесь о том, что узел вопроса первой половины шестидесятых годов лежал в вопросе крестьянском, что на нем раскололись демократы и либералы, что значительная группа социалистов была в этом вопросе непримиримее «Колокола» (Чернышевский). Все эти вещи известные и так напоминающие современное положение дел, когда снова узел социальной революции в России лежит в земельном вопросе! Когда теперь читаешь «Колокол», когда на столбцах его встречаешь слова об освобождении крестьян с выкупом или без выкупа, то невольно думаешь о текущем моменте, о вселиберальном требовании «выкупа» земли «по справедливой оценке»... Меняются факты, не меняется либеральная психология.

Но не меняется и психология революционная,—и это, быть может, с особенной ясностью сказалось на второй половине шестидесятых годов, на второй половине деятельности «Колокола» и Герцена, когда узлом эпохи стал уже не социальный вопрос, а вопрос политический. Вопрос этот поставила перед «либеральной» Россией Польша своим восстанием 1863 г., своей борьбой за политическое освобождение.

Под непосильной для либеральных плеч тяжестью этого вопроса окончательно сломился русский либерализм шестидесятых годов; откровеннейшая «либеральная реакция» (Катков) нашла здесь уже твердую точку опоры. Мало того, многие из демократического лагеря не могли превратить «антипатриотической» позиции «Колокола» в этом вопросе, и Герцен здесь остался почти одинок перед лицом всего «русского общественного мнения». Отсюда идет падение влияния «Колокола», влияния Герцена во второй половине шестидесятых годов.

И снова, когда перечитываешь эти страницы «Колокола» и враждебных ему «либеральных» изданий,— снова кажется, что речь идет не о времени, отделенном от нас полувеком, а о нашем времени, о наших днях, о 1917 годе.

«Польский вопрос» 1863 г. оценивался российскими либералами (и не одними либералами) точь-в-точь так же, как теперь, в 1917 г., оценивается теми же кругами «украинский вопрос». Прочтите во всех «либеральных» газетах дышащие злобой, призывающие к насилию статьи о современном украинском самоопределении, и вы поймете ту злобу, с которой российские либерал-реакционеры говорили о «свободной Польше», как об опасном враге русской «государственной идеи». Ибо известно, что идеей этой можно оправдать всякое насилие, всякое подавление свободы. «Россия разваливается!» — раздались тогда такие же, как теперь, озло-

бленно-перепуганные либеральные (и не только либеральные) вопли; и тогда, как и теперь, раздавались призывы к твердой государственной власти для спасения разваливающейся России и покорения под нозе ее всякого внешнего и внутреннего врага и супостата...

И мы с гордостью должны вспомнить, что Герцен не поддался этой вакханалии «государственного национализма», что твердо и решительно стал он за свободу «самоопределения национальностей», говоря словами сегодняшнего дня. «Колокол» с первого же момента польской революции — и еще за долго до нее—говорил об исторической несправедливости, которую русский народ должен исправить. «Колокол» призывал либералов понять, что польская свобода есть свобода России, что у польского и русского народа общий враг и общий друг.

Призывы «Колокола» остались тщетными, остались гласом вопиющего в пустыне. И разве не повторилось то же самое полвека спустя — на наших глазах и с нами самими? Разве та вспышка чисто зоологического «патриотизма», которая привела в 1914 г. под единые знамена черносотенцев и социалистов, либералов и реакционеров,—разве вспышка эта не была проявлением того самого духа, с которым так боролся Герцен, так боролся «Колокол»?

Духу государственного национализма Герцен не покорился, и это было причиной потери «Колоколом» влияния в русском обществе той эпохи. Что выше: идея отечества или идея справедливости?—спрашивал себя, спрашивал своих читателей Герцен по поводу «польского вопроса». Ответ был ясен и для него, и для читателей, но ответы эти были взаимно противоположные, ибо большинство «либеральных» читателей «Колокола» твердо стояло ни точке зрения государственно-национальной, не менее твердо, чем Герцен стоял на точке социально-этической. Мира между этими точками зрения быть не

может; они непримиримы, ибо несоизмеримы, ибо говорят на разных языках.

Социалист и революционер Герцен остался почти один на своем трудном пути; влияние «Колокола» пало, но только на малое время. Ибо вечные идеи не умирают. И полвека спустя, когда при взрыве зоологического национализма погибла, казалось, навсегда, в среде самих социалистов идея братства трудящихся народов, когда в единичном меньшинстве остались социалисты, верные былому своему знамени, из-за деревьев отечества не терявшие вида на лес всего человечества,—тогда можно было не впасть в отчаяние от всеобщей измены всех, от своего бессилия и одиночества, можно было не впасть в отчаяние только потому, что вспоминались и в былом такие же нередкие случаи временного поражения идеи и широкой ее последующей победы.

Так и случилось: победители и властители дум 1914 г. потерпели глубочайшее идейное поражение в 1917 г.; идеи отверженных и одиноких 1914 г. ведут за собой нынешнюю великую русскую революцию.

Так было и с Герценом, с той только разницей, что одиночество его и его идей было более продолжительное, и не удалось ему дожить до торжества тех самых взглядов, которые сделали его одиноким в русском обществе конца шестидесятых годов.

Начиная «Колокол», Герцен поставил эпиграфом к нему бодрые слова: vivos voco! И первые годы борьбы шли под знаком этого громкого «призыва живых». Силы росли, росло и ширилось движение, все крепче и увереннее становилось оно на революционный путь.

Со времени польского восстания 1863 г.—резкий перелом. Русское «либеральное» общество с ужасом открещивается от идеи «справедливости» во имя идеи цельности «отечества»; революционные силы раздроблены и разгромлены. «Колоколу» приходится не только

«звать живых», но и «оплакивать мертвых». Vivos voco, mortuos plango—являеся печальным эпиграфом «Колокола» во вторую половину его существования.

Но если бы Герцен мог заглянуть на полвека вперед, если бы мог он видеть и 1905 и 1917 годы,—он свой эпиграф продолжил и закончил бы гордым и мощным: fulgura frango!—«сокрушаю молнии»... Но кто мог думать тогда в 1857 г., что «молнии» бюрократического самодержавия будут сокрушены так скоро, в полвека (миг истории!), что «Колокол»—не он один, конечно,— сокрушит и сломает тот строй, который казался таким гранитно-твердым и несокрушимым!

«Колокол», идеи его—победили теперь по всей линии. После победы новая начинается борьба, новое расслоение, новая группировка,—и их тоже предвидел Герцен, и в дальнейшем идеи его по прежнему освещают наш путь. Ибо это он первый предвидел, что социализм-победитель имеет тенденцию отмежевываться от революции и окрашиваться в защитный мещанский цвет; он первый предвидел, что худшим врагом революционного социалистического меньшинства будет революционное социалистическое большинство... Да, Герцен показывает нам путь еще на многие и многие годы вперед.

И всегда сохранит свою силу то внешне и внутренне свободное слово, о котором Герцен так прекрасно сказал в первом номере «Колокола»:

«Труд наш не был напрасен. Наша речь, свободное русское слово, раздается в России, будит одних, страшает других, грозит гласностью третьим.

«Свободное русское слово наше раздается в Зимнем дворце, напоминая, что сдавленный пар взрывает машину, если не умеют его направить.

«Оно раздается среди юного поколения, которому мы передаем наш труд. Пусть оно, более счастливое, нежели мы, увидит на деле то, о чем мы только говорили. Не завидуя, смотрим мы на свежую рать, идущую обно-

вить нас, и дружески ее приветствуем. Ей—радостные праздники освобождения, нам—благовест, которым мы зовем живых на похороны всего дряхлого, отжившего, безобразного, рабского, невежественного в России!»

И помня эти слова, помня судьбу Герцена и его «Колокола»—мы не боимся «поражений» наших идей, ибо слишком уверены в их конечной победе...

20 июня 1917 г.

Герцен о наших днях.

(«Благоразумные» и «безумные»).

I.

«История февральской революции представляет три фазы: ее начала парламентская оппозиция, которая далее реформы идти не хотела; ее совершил народ провозглашением республики; ее закончили журналисты, адвокаты и былые «революционеры», воспользовавшеся общим разгромом и своими либеральными и „революционными» именами, чтобы сесть на трон. Парламентская оппозиция с ужасом увидела, что завоевала больше, нежели хотела. Адвокаты и «революционеры» стали между народом и мещанами, обоим присягнули, обоим протянули руки и основали свою власть на попытке нелепого примирения».

Да, такова история первого полугода нашей «февральской революции». Но не думайте, что я изложил ее своими словами: я только, с незначительными изменениями, почти буквально, переписал слова Герцена из его письма от 1 июня 1848 года... Так писал он о тогдашней «февральской революции»; так можем мы повторить о «февральской революции» минувшего года.

Герцена перечитываешь теперь, как самого современного, как самого «своевременного» писателя. И часто забываешься, часто путаешься: тогда это происходило или

теперь? В дни Кавеньяка или в наши дни? Вот глава исполнительной власти правительства республики в июньские дни: «посмотрите, что за роль начинает здесь играть К*: он ездит с драгунами, со штабом — и это нравится; да кому же? толпе? а хоть бы и ей: ведь suffrage universel (всеобщее голосование) дало ей в руки государство... Вот и выпутывайтесь тут»... О ком это? о чем это? Да! о Кавеньяке! письмо Герцена помечено 6-м сентября 1848 года.

Франция не выпуталась; Россия теперь выпутывается. Она выпуталась из паутины «соглашательства» (по Герцену — «нелепого примирения»), она вышла из под власти тех «революционеров», которые «стали между народом и мещанами, обоим присягнули, обоим протянули руки и основали свою власть на попытке нелепого примирения».

Правда, на борьбу с этой властью загублено было более полугода; правда, властью этой была, быть может, загублена вся русская революция. Но только тяжелым путем борьбы со всяческим «соглашательством» мог народ, могли все до единого придти к глубокому убеждению, что надо всем разделиться на *два стана*, что иного нет пути для революции, что по две разные стороны пропасти стоят революционеры, чающие мира нового и былые «революционеры» старого мира.

Хотите вспомнить, что говорит об этом Герцен? А вот что.

II.

«...Раньше было дешево либеральничать: стоило толковать о прогрессе, о самодержавии народа, о демократических симпатиях, сидеть в «лезом центре», пугнуть иногда мещан воспоминанием о конвенте...—и все

это, оставаясь не только защитником прав, но и порядка, т. е. существующего.

«Все переменилось и серьезно теперь; нельзя быть революционером не только по двум-трем фразам, речам, но и по благородным воспоминаниям о прошлых боях, строивши и защищая баррикады. Ни личная храбрость, ни доблестный нрав не могут сделать человека революционером, если он не революционер в смысле современной эпохи.

«Революционеры XVIII века были велики и сильны именно потому, что они так хорошо поняли в чем им следовало быть революционерами, и, однажды понявши, безбоязненно и безпощадно шли своей дорогой. Быть теперь революционерами в смысле конвента было бы почти то же, что явиться в конвент гугенотом. В XVIII столетии достаточно было бы быть республиканцем, чтобы быть революционером; теперь можно очень легко быть республиканцем и отчаянным консерватором. Но социалисту в наше время нельзя не быть революционером.

«Никакой нет обязанности быть революционером, но тот, кто поднимает знамя, кто добровольно становится в ряды, тот должен знать, что *революция обязывает*, что нельзя по капризу идти до того места или до другого.

«По счастью, в последнее время революция и консерватизм так раздвинулись, что каким колоссом Родосским ни будь, но все же невозможно стоять на обоих берегах... Время политического эклектизма прошло,—надобно стоять на том берегу или на этом.

«Кто желает сохранить что бы то ни было из оснований христианских, феодальных, римских, у того в душе дремлет консерватизм и реакция; обстоятельства непременно его обойдут. Дело очень просто: революционная идея нашего времени несовместна с европейским государственным устройством»... (1 июня 1849 г.; «Письма из Франции и Италии»).

III.

Читаешь все это—и нет-нет, да забудешь: о ком, о чем тут речь? «Левый центр»—уж не о пресловутом ли «левом центре» партии правых социалистов-революционеров пророчески говорит Герцен? Об этом левом центре правой партии, весь год ухитрявшемся садиться мимо двух стульев прямо в лужу соглашательства.

«Теперь нельзя быть революционером по благородным воспоминаниям о прошлых боях, строивши и защищая баррикады»... Да, поистине—нельзя. Ибо защищавшие одну сторону баррикад в 1905 году защищали другую ее сторону в 1917-ом. И славные революционные имена последних десятилетий вылиняли, поблекли, а подчас стали и глубоко враждебными революции в тяжелый и великий 1917-й год. Ибо—никакие прошлые заслуги «не могут сделать человека революционером, если он не революционер в смысле современной эпохи». Это твердо знал Герцен семьдесят лет тому назад, но этого не могут до сих пор понять все наши «революционеры» в кавычках.

И еще знал Герцен то, что так основательно забыли многие из этих, заключенных в кавычки людей: он знал, а они забыли, что *революция обязывает*, что «нельзя по капризу идти до того места, или до другого»...

Он знал, еще семьдесят лет тому назад, что подлинная революция, революция социальная—«несовместна с европейским государственным устройством»... Он ждал, он звал такую революцию. А когда она пришла—мещанские социалисты, прикрываясь его именем, стали всячески бороться за отжившее «европейское государственное устройство», стали всячески тормозить движение революции «к тому берегу», на котором уже три чет-

верти века тому назад стоял Герцен. И нет худшего врага, чем Герцен, для этих мещан социализма.

Одного не предвидел Герцен—не предвидел он скорого нарождения мещан социализма... «Социалисту в наше время нельзя не быть революционером»,— говорил он тогда; и подлинно, в то время рождения революционного социализма, слова «социалист» и «революционер» были синонимами. А теперь?

Недавние «социалисты-революционеры» не обратились ли в большинстве своем в «социалистов-реакционеров», в социалистов мещан, слуг старого мира? И не попробовали ли они утопить в мещанском болоте революцию 1917 года?

Не только пробовали, но и долго еще будут пробовать. И хотя всякому духовному мещанству от века уготовано конечное поражение, но не так-то сразу дастся победа революционному мировому социализму. Впереди много еще черных дней и годов. Но их тоже предвидел Герцен...

IV.

Герцен знал, что победа революционного социализма возможна лишь при полном разрушении, полном «истреблении», («экстерминации», говорил он) старого мира; знал также, что силы этого мира еще велики, что борьба с ним будет страшная, затяжная, безмерно тяжелая. Он предвидел не розовый и сладенький социалистический рай впереди, а долгие годы страданий, исканий, борьбы. Вещие слова о наших днях звучат в его письме от 8 ноября 1848 года:

«Победа демократии и социализма может быть только при экстерминации (истреблении) существующего мира с его добром и злом и его цивилизацией; революция,

которая теперь приготовляется (я вижу ее характер очень вблизи), ничего ни имеет похожего в предыдущих. Это будут сентябрьские дни (1792 года) в продожение годов... Старому миру не устоять: демократия — c'est l'armée militante de l'avenir (боевая армия будущего), этого—«коррозивное (раз'едающее) начало»... Да зачем она только разлагающая, dissolvant старого? вероятно, можно об'яснить, но не в том дело, — дело в том, что факт таков. Массы... не готовы к гармоническому вступлению во владение плодом цивилизации, но не готовы массы, с другой стороны, и терпеть, а потому характер взрыва будет страшный. В 93 году террор и все прочее сделано мещанами и парижанами; вообразите, что будет, когда весь пролетариат в Европе станет на ноги»...

Герцен не был ни слепым оптимистом, ни Маниловым; он видел, что готовит будущее, он знал, что демократия еще не готова к миру новому и в то же время должна подойти к «экстерминации» мира старого... Не может войти в мир новый и должна разрушить мир старый: ни в этом-ли величайшая трагедия демократии? Никто из евреев, исшедших с Моисеем из Египта, не достиг земли Обетованной: ее достигло лишь молодое, новое поколение, после сорока лет блуждания в пустыне...

V.

Но тут „благоразумные" люди начинают вопиять против такого „преждевременного" исхода из Египта старого мира; они называют „безумцами" тех кто идет на явную гибель, в поисках земли Обетованной. Грады и веси переполнены этими „благоразумными" мещанами мира старого; и даже среди чающих нового мира не редки эти „благоразумные" голоса...

Не так-ли и при исходе из Египта „благоразумные“ из „сынов израилевых“ корили своих вождей: „чтобы не погибнуть в Египте извели вы погубить нас в пустыню! Зачем сие сотворили еси нам, извели нас из Египта? Не говорили-ли мы вам в Египте: оставьте нас! пусть работаем мы египтянам! Ибо лучше было бы нам работать египтянам, нежели умереть в пустыне сей“!

Вечная эта история: „благоразумные“ корят и поносят „безумных“. Вечные это два стана. „Благоразумные“ всегда стоят за прочный, твердый старый мир; „безумные“ всегда ищут землю Обетованную, хотя бы на пути к ней десятилетия надо было бы скитаться в пустыне. И каждый из нас должен твердо выбрать, к которому из двух станов хочет он принадлежать.

Наш выбор сделан давно и освящен всем крестным путем героев мысли и дела минувшего века, минувших веков.

Но со злобой и ненавистью бросают нам укор мещане старого мира (особенно—мещане-социалисты), что не в праве мы вести на гибель за собою народ, „малых сих“, что пусть погибнем мы в пустыне—тем лучше, но не смеем мы губить с собою других...

VI.

Веское слово и „благоразумное“. Но этим благоразумным людям (от века ведущим за собою к гибели доверившихся им слепых) давно уже ответил Герцен в своем письме от 1 июня 1849 г.:

„... Можно быть очень добросовестным человеком и плохим историком, еще худшим психологом. У человечества другая экономия, нежели у кухарок: оно починает все круги сыра разом, а не ждет, чтоб первый

был с'еден: оно парит со всех концов. Когда является в сознании новая великая мысль и поражает сильнейшие разумения своего времени, ее остановить или задержать невозможно; массы как будто предчувствуют ее; каждое слово, которое в другое время прошло бы незамеченным, беспокоит, волнует. И кто же, в самом деле, может сказать людям, как Гамлет говорил себе: „Сердце, погоди, не бейся; я выжду, что скажет Горацио“? Разве мысль не такой же факт, как все другие факты? Разве она не имеет своего необходимого рождения и развития, непреложного, неотвратимого? Социализм должен был поднять свое знамя при первом клике республики и заявить свое существование; обманутый два раза Временным Правительством, обманутый Учредительным Собранием, он потребовал сначала словом, потом баррикадами исполнения обещанного“.

Перечитываю это—и снова на минуту забываю: о какой революции идет здесь речь? о каком Временном Правительстве? о каком Учредительном Собрании?.. Не о наших ли днях говорил, впрямь, „безумный“ Герцен?

VII.

Так или иначе—но съ „благоразумными“ нам не по пути; пути наши давно разошлись. И пусть для них „безумие“ наше является „неразумием“—для нас „благоразумие“ их является тем пресным духовным мещанством, с которым нет и не может быть ни мира, ни перемирия. И худшим, ненавистнейшим врагом является для нас мещанский социализм, этот верный союзник старого мира.

Нет мира, нет перемирия и в борьбе революционного социализма за новый мир. С первой битвы социализма разбитого в 1848 году, сделавшего первые

шаги к победе в 1917 году, и до последней, далекой еще битвы—лежит тяжелый, трудный, долгий путь. Будет ли впереди конечная победа? Верим, что да; хотя и „не знаем ни часа, ни срока". И снова вспоминаются пророческие слова Герцена:

„...Погибли все надежды на спокойное и мирное прогрессивное развитие, разрушены все мосты переходных соглашений. Или Европа падет под ужасными ударами социализма, распатанная им и сброшенная со своего фундамента, как некогда пал Рим усилиями христианства; или Европа, какова она есть, со всей своей рутиной, вместо идей, со своею старческой дряхлостью вместо энергии,—победит социализм и, как вторая Византия, станет влачиться в длительной апатии, предоставив другим народам и другим странам прогресс, будущее, жизнь. Будь возможен третий исход, он был бы хаосом всемирной войны без победы с чьей-либо стороны, был бы смутой всеобщего восстания, которая, в конце концов, привела бы к деспотизму, к террору, к окончательному истреблению. Во всем этом нет ничего невозможного: мы накануне эпохи слез и страданий, воя и и скрежета зубов"...

— Да будет так!—ибо изменить эти пути мы бессильны. Мы можем только все свои силы, всю свою волю приложить к тому, чтобы осуществился в мировой истории первый из этих трех путей. Пусть духовные мещане, социалисты и не социалисты, всеми силами поддерживают „старую Европу", старый мир, пусть клянут они неизбежный исход через пустыню, пусть их будет „благоразумное большинство"—тем упорнее пойдем мы по нашему пути. И пойдем отчасти по новым, отчасти и по уже протореным тропам: мы видели, как далеко ушел по этому пути хотя бы Герцен, еще три-четверти века тому назад...

Пусть мы не дойдем, пусть дойдут дети детей наших —разве *в этом* дело? разве *это* дорого, ценно и

важно? Лишь бы была вера в путь, ведущий хотя бы к первым ступеням внешнего раскрепощения человеческого, лишь бы издали, в тумане видеть обетованную землю...

„И показах ю очесем твоим, и тамо не внидеши". Пусть так. Но в грозе и буре революции, в ее тяжелых и душных раскатах, я уже вижу и предчувствую будущую обетованную землю человеческой свободы. И как ни тяжел, путь, но с благодарностью к судьбе часто повторяю слова поэта:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые:
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир.
Он их высоких зрелищ зритель...

Январь 1918 г.

Философия истории Герцена *).

I.

...Есть два основных общепринятых отношения к вопросу о „смысле жизни", которые можно условно назвать „мистическим" и „позитивным" решением вопроса; в чем заключаются они—станет ясно из дальнейшего. Но кроме этих двух решений, в истории русской мысли минувшего века существовало, шло и развивалось третье отношение, решение, мировоззрение, которое можно было-бы назвать „имманентным суб'ективизмом" и которое тесно связано с именем Герцена.

Вопрос о „смысле жизни" и развитие его в русской литературе—эта интереснейшая тема могла бы лечь в основу обширной истории русской литературы, если бы историки ее не предпочитали проторенных и избитых тропинок.

Мы ограничимся здесь лишь одним эпизодом из истории русской мысли, эпизодом наиболее характерным: проследим за первой на философской почве сменой мистической теории прогресса—позитивной, а их обеих—мировоззрением „имманентного суб'ективизма, впервые выраженного Герценом.

---

*) Настоящая статья является посвященным мировоззрению Герцена отрывком из книги „О смысле жизни" (1908 г.).

II.

Родоначальником „имманентного суб'ективизма“ в истории русской мысли является Герцен. Какими путями русская мысль пришла к этой теории—здесь не место говорить об этом подробно (это я сделал, говоря о Герцене в „Истории русской общественной мысли“ в большой посвященной ему главе); теперь—отмечу только вкратце, как на этих путях до Герцена решали (а еще чаще обходили сторонкой) вопрос о смысле существования.

Обращаюсь сразу к тому поколению русской интеллигенции, которое впервые вооружилось серьезными философскими знаниями для решения вопроса о смысле жизни человека, жизни человечества.

Оружие это было шеллингианство, последователями которого в двадцатых годах были „любомудры“—Веневитинов, кн. В. Одоевский, Иван Киреевский, Кошелев и др. (предшественники позднейшего славянофильства), а в тридцатых годах—Станкевич и его друзья. Для Шеллинга целесообразность имеет не суб'ективное, а об'ективное значение, она существует не только в нашем суждении, но и во всемирном процессе, в „мировой душе“—так называл Шеллинг природу. Развитие мира есть постепенное откровение абсолютного, целесообразное движение к тождеству свободы и необходимости; в трагедии человечества мы не марионетки, а творцы своих ролей, ведущие действие к слиянию с Богом - к концу всемирной истории.

Все эти положения гениальной философии Шеллинга были усвоены нашими шеллингианцами двадцатых и тридцатых годов, впервые обосновавшими на философской почве мистическую теорию прогресса. Оправдание

мира они искали в области трансцендентного; видя нелепость жизни, ее ужасы, бессмыслицу, они были уверены, что всему этому не может не быть в конце концов полного об'яснения и оправдания, ибо—„es herrschet eine Allweisé Güte über die Welt“ (любимая фраза Станкевича). Над миром царит Премудрая Благость, а потому все зло жизни, все ужасы смерти, вся бессмыслица случая—все это получает свое об,яснение и оправдание при свете философской мысли, философской веры. „Меня утешает, мой друг, вера в кроткую десницу, распростертую над главой создания. Слепая Ἀνάγκη не тяготеет над бытием вселенной, но миры падают, шумят океаны, борются воли людей; а падение миров, стремление волн и борьба волей суть, может быть, вздохи Единого, Беспредельного, Всеблагого! Благодарю Провидение“... Эти слова Станкевича очень характерны для русских шеллингианцев двадцатых-тридцатых годов; в них мы видим трансцендентное оправдание мира на почве признания об'ективной целесообразности мирового процесса.

На этой же почве признания об'ективной осмысленности мира Станкевич и его друзья остались и в последующем периоде—периоде своего гегельянства, когда весь мир представлялся им в виде одной саморазвивающейся Идеи. „Истина только в об'ективности“—провозгласил Белинский вслед за Бакуниным, и исходя отсюда, пришел к своей знаменитой теории „разумной действительности“; он принял мир в его ужасах, ибо оправданием ему служил абсолютный, саморазвивающийся Дух. Друзья Белинского (Бакунин, Станкевич и др.) понимали, что „Bessarione furioso“ неправильно толкует гегельянскую действительность, но и для них абсолютный Дух служил оправданием миру—на этой почве сходились все русские гегельянцы. „...Они не понимают, что такое „действительность“,—писал Грановскому Станкевич про Белинского и его сторонников:—...о действи-

тельности пусть прочтут в „Логике“ (Гегеля), что действительность в смысле непосредственности, внешнего бытия—есть *случайность*; что действительность, в ее истине, есть *Разум*, Дух“...

Итак, как ни понимать действительность, все равно об‘ективный смысл мирового процесса есть основной факт, с высоты которого наши гегельянцы оправдывали, принимали, понимали мир. Когда к умирающему Станкевичу зашел один его знакомый, художник Марков (это имя следовало бы сохранить от забвения, так как в Маркове читатель сейчас увидит человека вечного карамазовского типа, непримиримого суб‘ективиста, противника всех гегельянских метафизических утешений), когда этот Марков, говорим мы, „закидал“ Станкевича философскими вопросами и сомнениями о смысле зла в мире, об обравдании мира, то на все это Станкевичу „было ему трудно отвечать“... „Я никогда почти—признается Станкевич—не делаю себе таких вопросов. В мире господствует дух, разум: это успокаивает меня насчет всего. Но его (Маркова) требования не эгоистические—нет! существование одного голодного нищего довольно для него, чтобы разрушить гармонию природы. Тут трудно отвечать что-нибудь, тут помогает характер, помогает невольная вера, основанная на знании разумного начала“... Да тут трудно отвечать что-нибудь, тут об‘ективистам всегда приходится ссылаться на веру... Но не характерно ли, что искушенный в философской мудрости Станкевич теряется перед категорически поставленным вопросом о сочетани зла с „гармонией природы“?

Эта теория об‘ективной целесообразности, об‘ективной осмысленности жизни стала, наконец, слишком тяжелой для наших гегельянцев; мало-по-малу они стали чувствовать, что задыхаются на этой своей слишком возвышенной философской позиции. Протест против об‘ективизма нарастал постепенно.

Сперва, еще в разгар увлечения гегельянством, мы находим у того же Станкевича легкую иронию над об'ективной точкой зрения. Например: „...какие чувства волнуют твою морю подобную душу? спросишь ты. Гм! Душа—что̀ такое душа?—Reflexion in sich. Что̀ море?—Reflexion in anderes. Солнце соединило атомы на радость и горе, и это соединение называется: раб божий Николай“... Эта почтительная ирония не помешала Станкевичу оставаться до смерти убежденным гегельянцем, об'ективистом, верующим в об'ективную целесообразность и в об'ективный смысл жизни; окончательно разорвать с гегельянством, с мистической теорией прогресса суждено было Белинскому.

Как и почему Белинский отшатнулся от об'ективизма, как проклял он то Общее, на которое раньше возлагал все надежды и в котором видел смысл и оправдание всего—об этом нам приходилось уже говорить в другом месте. Отказавшись от метафизических утешений трансцендентным, Белинский сперва впал в холодное отчаяние, которое прорывалось у него и позднее—именно потому, что он не был в состоянии найти сразу точку опоры. Ему все казалось, что раз в жизни нет об'ективной целесообразности, то нет и никакой. „Жизнь—ловушка, а мы—мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве понюхает... Глупая комедия, чорт возьм! Будем же пить и веселиться, если можем, нынешний день наш—ведь нигде на наш вопль нету отзыва“!.. Пока у людей есть в запасе метафизические утешения, вера, то они могут переносить зло и ужасы жизни; нет этой веры—и лучшие из людей „молча и гордо, твердым шагом идут в ненасытимое жерло смерти... Трагическое положение, воскликнешь ты с улыбкой торжества (Белинский все это пишет Боткину). Дитя, полно тебе играть в понятия, как в куклы! Твое трагическое—бессмыслица, злая насмешка судьбы над бед-

ным человечеством!“ Об‘ективного смысла в жизни нет, это ясно теперь Белинскому; а раз нет об‘ективного смысла, то нет и никакого: зачем все это, когда все умрет, и вы, и я, и горы? В этом переходном настроении, близком к неприятию мира, был в то время и Белинский. „Я не понимаю, к чему все это и зачем: ведь все умрем и сгнием—для чего-ж любить, верить, надеяться, страдать, стремиться, страшиться? Умирают люди, умирают народы, умрет и планета наша“... И все эти мысли Белинский высказывает в том самом 1840 году, когда начинавшийся разрыв с „Егором Федорычем Гегелевым“ заставил его отказаться от веры в об‘ективную целесообразность, в об‘ективную осмысленность жизни, в основные положения того, что мы условно назвали мистической теорией прогресса.

Но отказавшись от всего этого и после краткого периода отмеченных выше колебаний, Белинский пришел не к имманентному суб‘ективизму, а к позитивной теории прогресса: слишком страшно было совершенно отречься от надежды на возможность об‘ективного смысла жизни; лучше было возложить упование на светлое будущее человечества и этим светлым будущим осветить и освятить мрак настоящего: „мы должны страдать, чтобы нашим внукам было легче жить“... Здесь Белинский сошелся с тем течением русской мысли, которое уже с начала тридцатых годов имело своими представителями Герцена и его друзей и которое характеризовалось идеалами социализма, в форме сен-симонизма сперва и фурьеризма позднее. Достаточно известно, как Белинский в начале сороковых годов с обычной своею страстностью проповедывал и исповедывал это учение социализма, которое стало для него „идеею идей, бытием бытия“; в нем он видел оправдание мира, об‘ективный смысл жизни.

Не будем останавливаться на этом периоде веры Белинского в позитивную теорию прогресса, но заметим,

что во второй половине сороковых годов он уже охладел к социализму, хотя *социальность* и осталась навсегда его девизом. Это охлаждение об'ясняется между прочим (если не главным образом) пониманием бессилия какой-бы то ни было позитивной теории прогресса оправдать мир, ответить на карамазовские вопросы. Сам того не сознавая, Белинский все чаще и чаще сходил с зыбкой почвы признания об'ективной осмысленности жизни и становился на точку зрения имманентного суб'ективизма. Уже в своем знаменитом письме (от 1-го марта 1841 г.), в котором окончательно был сформулирован разрыв с Гегелем, Белинский требовал отчета о *каждом* из братий по крови. Здѣсь начало если не мировоззрения, то настроения имманентного суб'ективизма, и с этих пор настроения эти не перестают звучать у Белинского. „Что мне в том, что моим или твоим детям будет хорошо, если мне скверно, и если не моя вина в том, что мне скверно"? Теперь Бѣлинский понимает, что „в каждом моменте человека есть *современные* этому моменту потребности и полное их удовлетворение", что для оправдания настоящего бессмысленно ссылаться на будущее; теперь он соглашается, что никакое будущее совершенство, ни земное, ни небесное, не искупает бессмыслицы несовершенства настоящего времени, что осмысливать настоящее несовершенство человеческой жизни можно только настоящим же. „Совершенство есть идея абстрактного трансцендентализма, и потому оно подлейшая вещь в мире, — писал Белинский уже за год до смерти.—Человек смертен, подвержен болезни, голоду, должен отстаивать с бою жизнь свою—это его несовершенство, но им-то и велик он, им-то и мила и дорога ему жизнь его"...

Одни эти замечательные слова показывают нам, как близко подошел Белинский к мировоззрению имманентного суб'ективизма, охладев и к мистической и к позитивной теориям прогресса. Почти в это же самое время

Герцен впервые и с блестящей ясностью формулировал эту новую точку зрения в своей гениальной книге „С того берега“; после двух десятилетий страстной веры в „совершенство“, в саморазвивающуюся природу и идею, в оправдание настоящего будущим, русская мысль пришла к имманентному суб'ективизму. И гениальным выразителем этого мировоззрения был Герцен.

III.

На почве «социальности» Герцен твердо стоял еще с самого начала тридцатых годов. Но как-раз к тому времени, когда Белинский в начале сороковых годов провозгласил своим девизом „социальность“, Герцен стал мало-по-малу — сначала незаметно для самого себя — создавать мировоззрение имманентного суб'ективизма. Оно складывалось в его сознании постепенно — мы можем убедиться в этом, читая замечательный герценовский дневник 1842—1845 гг. То там, то сям мимоходом касается Герцен вопроса о цели жизни, вопроса о случае и случайности; ставить вопрос, мельком отвечает на него, через несколько времени снова возвращается к нему и снова дает прежний ответ, одинаково далекий и от мистической и от позитивной теории прогресса. В споре со славянофилами, типичными представителями мистической теории прогресса, Герцен уже вполне ясно подчеркивал основное положение имманентного суб'ективизма.

Это было еще в 1842 году. Но только пятью годами позднее Герцен окончательно сформулировал свои воззрения на смысл жизни человека и человечества, на случай, на целесообразность; он сделал это в первой главе своей книги „С того берега“. Это удивительная книга—ее и сам Герцен считал лучшим из всего на-

писанного им—является началом новой эпохи русской мысли. Здесь мы не будем говорить о том, что книга эта начала собою эру русского народничества, что и славянофильство и западничество с этих пор оказались одинаково превзойденными; мы остановимся только на проявлении в этой гениальной книге тех воззрений, которые мы об‘единяем названием „имманентного суб‘ективизма“.

Воззрения эти ярко и выпукло обрисованы Герценом в главе „Перед грозой“—первой и, быть может, самой блестящей главе из всей книги. Глава эта написана в форме диалога, действительно происходившего в 1847 г. между Герценом и И. П. Галаховым (о нем см. о XXIX главе „Былого и Дум“). Галахов упорно отстаивал позицию об‘ективизма, позитивную теорию прогресса, цель в будущем, а Герцен шаг за шагом тяжелыми ударами разбивал все эти об‘ективно-телеологические теории с точки зрения того мировоззрения, которое мы назвали имманентным суб‘ективизмом. С удивительн силою вскрывал Герцен трусость мысли большинст об‘ективистов, которые с ужасом бегут от мысли о б смысленности жизни, об отсутствии в ней об‘ективн смысла. Чтобы заглушить эти речи внутреннего голо человек готов схватиться за все, он торопится опьянит себя пошлостью обыденной жизни, верою, вином, мистицизмом—чем ни попало, лишь бы скрыть от себя истину, что жизнь не имеет никакого об‘ективного смысла. И вся человеческая жизнь проходит большею частью „в этой боязни исследовать, чтоб не увидать вздор исследуемаго“...

Ist's denn so grosses Geheimniss was Gott und der Mensch und die Welt sei?
Nein, doch niemand hört's gerne, da bleibt es geheim,

—эти слова (Гете) недаром взял эпиграфом Герцен к своему диалогу с Галаховым. Да, что жизнь не имеет

об'ективного смысла—niemand hört's gerne; большинство предпочитает заткнуть уши, закрыть глаза или, подобно страусу, спрятать голову, чтобы не видеть и не слышать. На поле битвы остаются только вооруженные верою об'ективисты: они верят, что жизнь их и жизнь человечества направлена к некоторой конечной цели, что настоящее оправдывается и об'ясняется будущим, что грядущее земное или небесное блаженство придает об'ективный смысл человеческой жизни. И когда им говорят, что их вера не есть агрумент в пользу истины, когда „трансцендентной неочевидности" их веры противопоставляют эмпирическую очевидность бессмысленности жизни человека и жизни человечества,—тогда они растерянно хватаются за любые аргументы, лишь бы доказать „нелепость" мировоззрения имманентного суб'ективизма.

„Как же это?—возражает, например, Галахов Герцену:—в природе все так целесообразно, а цивилизация, высшее усилие, венец эпохи, выходит бесцельно из нее?.. В вашей филисофии истории есть что то возмущающее душу—для чего эти усилия? Жизнь народов становится праздной игрой, лепит, лепит по песчинке, по камешку, а тут опять все рухнется на земь и люди ползут из-под развалин, начинают снова расчищать место, да строить хижины из мха, досок и упадших капителей, достигая веками, долгим трудом—падения. Шекспир не даром сказал, что история скучная сказка, рассказанная дураком"... Если человечество играет бессмысленную роль белки в колесе, продолжает Галахов, то вот мы и „опять возвратились к Рее, беспрерывно рождающей в страшных страданиях детей, которыми закусывает Сатурн... Какая цель всего этого? Вы обходите этот вопрос, не решая его; стоит ли детям родиться для того, чтоб отец их с'ел, да вообще стоит ли игра свеч?"

Прежде всего—за свечи не вы платите, ядовито отвечает Герцен всем об'ективным телеологам в лице

Галахова. Иными словами это значит: parlez pour vous и не думайте, что для всех, как для вас, жизнь без об'ективного смысла не имеет цены. Об'ективного смысла жизни нет, но жизнь имеет суб'ективный смысл; об'ективной цели в будущем ни жизнь человечества, ни жизнь человека не имеют, но такой целью является настоящее, является каждый данный момент. И Герцен блестяще развивает те мысли, которые он высказывал еще в своем дневнике 1842-го года. „Настоящее есть реальная сфера бытия,—писал тогда Герцен:—.. цель жизни—жизнь. Жизнь в той форме, в том развитии, в котором поставлено существо, т.-е. цель человека—жизнь человеческая" (28 июня 1842 г.). И еще: „проклятое невнимание наше к настоящему делает то, что мы только умеем вспоминать утраченное... Лозить настоящее, одействоворить в себе все возможности на блаженство—под ним я разумею и общую деятельность, и блаженство знания так же, как блаженство дружбы, любви, семейных чувств—а там, что будет, то будет; на мне ответственность не лежит; тот ответит, кто скрыл талант в землю, чтоб его не украли... Все стороны, составляющие живой дух человека, должны слитно, гармонически участвовать в его деянии, иначе выйдет односторонность..." (16 дек. 1844 г.). Впрочем, заключает Герцен, „на эту тему можно написать целую тетрадь..." Он и написал ее тремя годами позднее: на эту тему написана, как мы знаем, вся первая глава „С того берега".

Цель—в настоящем, категорически заявляет теперь Герцен, ибо жизнь „ничего личного, индивидуального не готовит впрок, она всякий раз вся изливается в настоящую минуту". Оттого-то и „каждая историческая фаза имеет полную действительность, свою индивидуальность, каждая—достигнутая цель, а не средство"; „оттого каждый исторический миг полон, замкнут посвоему, как всякий год с весной и летом, с зимою и

осенью, с бурями и хорошей погодой. Оттого каждый период нов, свеж, исполнен своих надежд, сам в себе носит свое благо и свою скорбь, настоящее, принадлежит ему"... И это нисчуть не противоречит тому, что всю историю человечества связует во-едино красная нитка прогресса, этого непрерывного родового роста человечества. Ибо „этот родовой рост не цель, как вы полагаете, а свойство преемственно продолжающагося существования поколений. Цель для каждого поколения — оно само"... „...Из этого ясно одно, что надобно пользоваться жизнью, настоящим; не даром природа всеми языками своими беспрерывно манит к жизни и шепчет на ухо всему свое vivere memento".

Вот почему нет ничего нелепее, как искать какие-то об'ективные цели в конце жизненного пути человека или человечества и приходить в отчаяние при мысли, что никаких конечных целей нет, что существуют только наши, суб'ективные человеческие цели. „Смотреть на конец, а не на самое дело — величайшая ошибка", замечает Герцен. Об'ективные телеологи ужасаются, что конечная цель может не существовать: если нет конечной цели, то в чем же тогда смысл и цель нашей жизни? „Какая цель всего этого? Вы обходите этот вопрос", говорил Галахов Герцену. Но Герцен как-раз и подходит к самому центру этого вопроса: „а какая цель песни, которую поет певица?" — спрашивает он в свою очередь. Песню надо слушать и наслаждаться ею, как настоящим, а не ждать от нея чего-то в будущем; точно также и наша жизнь сама себе цель, цель есть каждый данный момент, как для жизни человека, так и для жизни человечества. Жизнь и история есть в каждый данный момент достигнутая цель, а не средство для достижения какой-либо цели. „То-есть, просто, цель природы и истории — мы с вами?" — иронически вопрошает Галахов. „Отчасти, да *плюс* настоящее всего существующего, — отвечает ему Герцен; — тут все вы-

ходит: и наследие всех прошлых усилий, и зародыши всего, что будет... и гармония всей солнечной системы"...

Испытав неудачу на всех пунктах, об'ективные телеологи хватаются за „красную нитку прогресса", чтобы доказать факт существования об'ективной цели в жизни человечества: раз существует постепенное развитие человечества, то, стало быть, есть и цель, к которой направляется это развитие. Но Герцен резко восстает против попытки осмыслить настоящее будущим, настоящую бессмыслицу жизни будущим блаженством, земным или небесным—для него все равно: он одинаково беспощаден и к мистической и к позитивной теории прогресса. Он рассказывает (в главе „Consolatio") об одной матери потерявшей двух детей от скарлатины: „я их хорошо поместила,—утешала себя несчастная мать:—они возвратились чистыми... Им будет хорошо!" И когда Герцену указывают, что между этой слепой верой в небесное блаженство и верой человека в людей, в земное устроение громадная разница, то он готов согласиться только с тем, что эта вера в прогресс „не грубая религия des Jenseits, которая отдает детей в пансион на том свете, а религия des Diesseits, религия науки, всеобщего, родового, трансцендентального разума, идеализма". Другой разницы между ними нет. „Об'ясните мне, пожалуста, отчего верит в Бога смешно, а верить в человечество не смешно; верить в царство небесное—глупо, а верить в земные утопии—умно? Отбросивши положительную религию, мы остались при всех религиозных привычках, и, утратив рай на небе, верим в пришествие рая земного и хвастаемся этим..."

Но если даже земной рай не утопия, не иллюзия, то как он может все же оправдать и осмыслить человеческую жизнь? Задолго до Ивана Карамазова Герцен дает на этот вопрос карамазовский ответ: никакие „пансионы на том свете", никакие Zukunftstaat'ы на этом свете не могут придать об'ективный смысл жизни чело-

века. Потому что: „если прогресс—цель, то для кого мы работаем? Кто этот Молох, который, по мере приближения к нему тружеников, вместо награды пятится и в утешение изнуренным *и обреченным на* гибель толпам, которые ему кричат: morituri te salutant, только и умеет ответить горькой насмешкой, что после их смерти будет прекрасно на земле“... Но даже и это утешение—ложь, так как прогресс бесконечен; и именно потому, что он бесконечен, что конечной цели нет—цель эти лежит перед нами, она в наших руках, ибо эта цель—мы сами. „Каждая эпоха, каждое поколение, каждая жизнь имели, имеют свою полноту“... Цель в настоящем—к этому снова возвращается Герцен. Вместо того, чтобы поклоняться кумиру прогресса, говорит он, „не проще ли понять, что человек живет не для *совершения судеб*, не для воплощения идеи, не для прогресса, а единственно потому, что родился и родился *для* (как ни дурно это слово) для настоящего, что вовсе не мешает ему ни получать наследство от прошедшего, ни оставлять кое-что по завещанию“ („Роберт Оуэн“).

Так под ударами Герцена обрывается в руках об‘ективных телеологов та „красная нитка прогресса“, за которую они ухватились-было. Теперь они хватаются за последнюю соломинку: выставляют против теории имманентного суб‘ективизма знакомый нам фантом *Случая*. В лице Галахова они обвиняют воззрение Герцена в логической „распущенности“ и заявляют, что мировоззрение это бессильно против выставляемого ими фантома: мы не имеем-де при таком воззрении никакой гарантии в устойчивости жизни человечества, „история может продолжаться во-веки веков или завтра окончиться“. А последнее предположение для об‘ективных телеологов настолько нелепо, что им подписывается, по их мнению, смертный приговор воззрению имманентного суб‘ективизма.

Герцен смело поднимает брошенную перчатку. „Без сомнения,—отвечает он,—... история может продолжаться миллионы лет. С другой стороны, я ничего не имею против окончания истории завтра. Мало ли что может быть! Энкиева комета зацепит земной шар, геологический катаклизм пройдет по поверхности, ставя все вверх дном, какое-нибудь газообразное испарение сделает на полчаса невозможным дыхание—вот вам и финал истории"... Но эта истина, как она ни проста, не умещается в головах об'ективных телеологов: „стоило бы очень развиваться три тысячи лет с приятной будущностью задохнуться от какого-нибудь сероводородного испарения!—возмущается Галахов:—как же вы не видите, что это нелепость"? Удивительные, право, люди, эти об'ективные телеологи! Каждый божий день на глазах у них происходит подобная нелепость—гибель человеческого микрокосма, каждый день какой-нибудь камень разбивает голову вступающему в жизнь человеку—и тут они не спрашивают себя: стоило ли человеку развиваться двадцать лет с приятной будущностью случайно попасть под падающий с крыши камень? Этого они не спрашивают! За них этот вопрос ставят те „суб'ективисты", которые вслед за Герценом понимают, что „смерть одного не меньше нелепа, как гибель всего рода человеческого"... Так отвечает Герцен, так отвечает имманентный суб'ективизм. Смерть человека нелепа — и все-таки человеческая жизнь имеет суб'ективный смысл; гибель человечества будет не менее нелепа—и все же жизнь человечества суб'ективно осмысленна. Надо только помнить, что никакой об'ективной цели в будущем нет, что цель в настоящем — и все остальное приложится.

Опять-таки подчеркиваем: все это — мысли, выношенные годами, постепенно уяснявшиеся перед умственным взором Герцена. И именно фантом Случая, выставляемого об'ективными телеологами против Герцена в ка-

честве ultimae rationis, привел Герцена к его взгляду на прогресс, на жизнь, на смысл ее: достаточно заглянуть в его дневник, на записи от 1-го июля 1842 г., 23-го июля и 6-го августа 1844 г. и др. Мы не будем на них останавливаться, приведем только одну выдержку: „кто поручится за то, что какая-нибудь перемена в солнце вызовет катаклизм во всю поверхность земного шара, и тогда мы с зверьми и растениями погибнем и на наше место явится новое население, прилаженное к новой земле. Страшная вещь, а отвечать нельзя. Одно настоящее наше, а его-то ценить не умеем" (23-го июля 1844 г.). Мы видели, как эту же мысль Герцен выразил тремя годами позднее; он сказал: гибель человечества возможна, но настоящее — наше, а потому его надо ценить, в нем надо видеть цель всего существующего.

Мы закончим про Герцена ссылкой на его известный спор с Хомяковым, имевший место еще 20-го декабря 1842 г. Спор этот описан Герценом в „Былом и Думах" и он для нас так интересен, что мы позволим себе привести его целиком. Одним разумом, говорил Хомяков, „не дойдешь до того, чтобы понять природу иначе, как простое беспрерывное брожение, не имеющее цели, и которое может и продолжаться, и остановиться. А если это так, то вы не докажете и того, что история не оборвется завтра, не погибнет с родом человеческим, с планетой?

— Я вам и не говорил, — ответил я ему, — что я берусь это доказывать, я очень хорошо знал, что это невозможно.

— Как?—сказал Хомяков, несколько удивленный,— вы можете принимать эти страшные результаты *свирепейшей имманенции* и в вашей душе ничего не возмущается?

— Могу, потому что выводы разума независимы от того, хочу я их, или нет.

— Ну, вы по крайней мере, последовательны; однако, как человеку надобно свихнуть себе душу, чтоб примириться с этими печальными выводами нашей науки и привыкнуть к ним!

— Докажите мне, что *не-наука* ваша истиннее, и я приму ее также откровенно и безбоязненно, к чему бы она меня ни привела.

— Для этого надобно веру.

— Ну, Алексей Степанович, вы знаете: „на нет и суда нет“*).

Этим замечательным диалогом мы можем заключить спор Герцена, как представителя нового мировоззрения, с об'ективными телеологами, стоящими то на почве позитивной теории прогресса (как Галахов), то на почве мистической теории прогресса (как Хомяков). И с теми и с другими его борьба была одинаково победоносна; и те и другие, в конце концов, принуждены были хвататься за *веру* в об'ективную осмысленность жизни. На этой плоскости дальнейший спор уже, конечно, невозможен: вы верите, а я нет, и спорящим остается только разойтись и сформировать возможно точнее свои воззрения. Герцен и сделал это в своей гениальной книге „С того берега“; в ней мы имеем перед собою цельное и стройное мировоззрение, то самое, которое мы назвали «имманентным суб'ективизмом», а Хомяков когда-то обзывал *свирепейшей имманенцией*...

---

*) В „Дневнике“ от 21-го декабря 1842 г. этот спор изложен подробнее и с несколько иными оттенками, показывающими, что Герцен в то время далеко еще не стоял на своей позднейшей точке зрения „свирепейшей имманенции“.

IV.

Мы вынуждены ограничиться этим коротким эпизодом из истории русской мысли тридцатых-сороковых годов. Читатель видит, что затронутая тема настолько обширна, что исчерпать ее невозможно не только в двух главах, но и в двух томах. Но задача наша—не исчерпать вопрос, а только поставить его и наметить исторически испробованные общие пути решения.

Таких путей три: мистический, позитивный и имманентно-суб'ективный. Конечно, это только вполне *условная* терминология, ибо и мистическая теория прогресса может быт суб'ективной, и позитивная теория является имманентной. Но и мистическая и позитивная теории видят оправдание и смысл жизни в будущем, вне данной реальной личности—и в этом смысле мы их назвали *трансцендентными*; и мистическая и позитивная теории утверждают в то же время об'ективный смысл жизни, а потому мы и противопоставляем им воззрение имманентного *суб'ективизма*.

Когда и как появилось это воззрение в истории русской общественной мысли—это мы видели выше. Мы видели, что гениальным родоначальником его был Герцен, и тут же должны прибавить, что в Герцене мы имеем не только начало имманентного суб'ективизма, но и высшую точку его развития. После Герцена позитивная теория прогресса внов вступила в свои права в эпоху нашего Sturm und Drang Period'a шестидесятых годов; а нигилизм конца шестидесятых годов был типичным вырождением теории имманентного суб'ективизма. (Резко отрицательное отношение Герцена к нигилизму всем известно и нам нет необходимости останавливаться на этом вопросе).

Потом пришло народничество семидесятых годов, теоретиками которого являются сперва Лавров, а затем Михайловский. Выше мы подробно проследили связь мировоззрений Герцена и Михайловского; здесь отметим только, что в семидесятых годах была исправлена существеннейшая ошибка Герцена, совершенно отрицавшего всякую телеологию, всякую целесообразность: отрицая вслед за Герценом всякую об‘ективную телеологию, Михайловский, а до него и Лавров, признали законность суб‘ективного телеологизма. Но признание это, совершенно справедливое по существу, фатальным образом приблизило русское народничество к позитивной теории прогресса, столь ненавистной для Герцена: снова стали оправдывать и осмысливать настоящее будущим; снова будущий земной рай, хотя бы как осуществление нашего суб‘ективного идеала, стал оправдывать горе и ужас настоящего. Имманентный суб‘ективизм заглушался в замечательном мировоззрении Михайловского обычными позитивными течениями мысли; в позднейшем народничестве эти течения стали преобладающими, так что в этом отношении народничество не могло ничего противопоставить по существу об‘ективной телеологии марксизма с его Zukunftstaat'ом. Один только Глеб Успенский (в своих блестящих очерках „Крестьянин и крестьянский труд“) пробовал связать общие взгляды народничества с основным положением имманентного суб‘ективизма: цель в настоящем; но эта попытка осталась случайной и неподдержанной.

Таким образом общая схема различных ответов на вопрос о смысле жизни является в истории русской мысли XIX-го века приблизительно следующей: в двадцатых и тридцатых годах мы имеем перед собой *мистическую теорию прогресса*, опирающуюся на различные формы немецкого философского идеализма той эпохи; в сороковых годах на смену приходит *позитивная теория прогресса*, исходящая из принципов социализма и вообще

„социальности", с их верою в Человечество. Однако и эта теория к концу сороковых годов перестает удовлетворять своих адептов—по крайней мере наиболее выдающихся из них; и тогда, в пятидесятых годах (1848—1855) окончательно формируется и формулируется мировозрение *имманентного суб'ективизма* выразителем которого является Герцен. В шестидесятых годах происходит процесс популяризации и вульгаризации этого мировоззрения, получающего широкую известность в крайне упрощенных формах утилитаризма, в нигилизме конца шестидесятых годов эти взгляды приходят к самовырождению. В семидесятых годах мы видим частичный возврат к воззрениям Герцена и дальнейшее развитие их у Лаврова и Михайловского; но чем дальше, тем больше русская общественная мысль снова проникается положениями *позитивной теории прогресса*, которая достигает своего апогея в девяностых годах, в русском марксизме. Тогда в конце девяностых годов и в начале девятисотых снова возрождается и одно время царит („Проблемы идеализма") *мистическая теория прогресса*, проявляющаяся сперва в формах философского идеализма, а затем быстро принимающая религиозные формы. Наконец, в последние годы снова заметно усиление идей *имманентного суб'ективизма*—на этот раз более в области художественного творчества, чем в области философско-критической мысли.

Что же касается до области художественного творчества, то мы не имеем здесь ни малейшей возможности хотя бы вскользь проследить за отражением в ней отмеченных выше взглядов на мир, на жизнь, на человека. Это громадная тема. Одному Пушкину пришлось бы посвятить особую статью, чтобы наметить ответы его творчества на вопрос о смысле жизни, о цели, о человеке и человечестве. Но и без этих подробных исследований мы имеем возможность заключить a priori, что имманентный суб'ективизм—не как теория, а как полу-

сознанное чувство — имел большое значение в области интуитивного художественного творчества: мы увидели бы это на том же Пушкине, если бы могли остановиться на нем подробно. Конечно, это только голословное указание; но вот и обоснованное утвержение, касающееся Л. Толстого: после всего того, что мы слышали о нем от Л. Шестова, нам нет надобности доказывать, что в „Войне и мире" Л. Толстой, сам того не сознавая, выразил в ряде художественных образов воззрение о цели в настоящем. Еще более яркий пример — Достоевский: он вел ожесточенную борьбу с позитивной теорией прогресса, а против своей воли наносил удары и мистической теории прогресса. В типе Ивана Карамазова и его устами он с гениальной проникновенностью высказал сокрушающие доводы против земного и небесного Zukunftstaat'а. Иван Карамазов—величайший союзник Герцена на протяжении всего XIX века.

Одного этого достаточно для того, чтобы мы могли считать имманентный суб'ективизм тем воззрением, прошлое которого дает нам веру в его будущее. А потому мы и закончим этим наш краткий историко-литературный обзор. Мы могли бы еще остановиться на мотивах имманентного суб'ективизма у Тургенева, у Чехова; на враждебной всему этому об'ективной телеологии М. Горького с его верой в человечество, в «народушко». Мы могли бы еще раз подробнее остановиться на об'ективной телеологии мистической теории прогресса наших нео-идеалистов и нео-мистиков в роде Мережковского, Бердяева; на своеобразном преломлении идей имманентного суб'ективизма об об'ективной бессмысленности жизни человека и человечества в интересной трагедии В. Брюсова «Земля» и в пьеске А. Блока «Балаганчик»; на попытке найти новый путь к ответу в книге Н. Минского «При свете совести. Мечты и мысли о цели жизни». Мы могли бы... Но все это завлекло бы нас слишком далеко и не привело бы нас к новым вы-

водам, а только подтвердило бы уже добытые положения.

Все это показывает нам, что как ни далеко отошли мы от Герцена, но до сих пор его философия остается жизнетрепещущей, способной с тех или иных сторон отразиться в творчестве талантливейших из современных писателей. А потому, не призывая никого «назад к Герцену», мы все же думаем, что «вперед от Герцена» лежит верный путь; это путь—«имманентного суб'ективизма».

А теперь еще два слова о Герцене, чтобы избежать некоторых возможных недоразумений. И прежде всего хотелось бы особенно подчеркнуть, что в философии истории Герцена мы видим отнюдь не окончательное решение вопроса о смысле жизни, а только верный путь, верное направление. Имманентный суб'ективизм Герцена—не торная дорога, которая ведет в раз навсегда построенную твердыню истины, а только направление, указываемое стрелкой компаса. Следуя этому направлению, мы должны сами прорубать себе дорогу через чащи и дебри, мы сами должны *творить*, а не слепо следовать за однажды избранным путеводителем. «Не ищи решений в этой книге—их нет в ней»—сказал сам Герцен на первой странице «С того берега»; не будем же искать готовых ответов ни в этой книге, ни в какой-либо другой.

Если читатель согласится со всем этим, то он уже не будет удивлен тем обстоятельством, что пессимистическая концепция книги Герцена заменилась бодрым и оптимистическим настроением возрождающегося имманентного суб'ективизма. Философия истории Герцена сложилась у него задолго до событий 1848-го г.; мы проследили за ее постепенным ростом еще с эпохи «новгородского сидения» Герцена, т.-е. с 1842-го г.; даже разобранная нами первая глава «С того берега» была написана до событий февральской революции — в

декабре 1847-го года. Но, несмотря на все это, несомненно, что все европейские впечатления Герцена, и до-революционные и по-революционные, придали этой его философии истории вполне определенную пессимистическую окраску: книга Герцена была порождена великим отчаянием, эта фраза стала общим местом. Этим общим местом затемнялось до сих пор то обстоятельство, что философия истории Герцена только вполне случайно получила окраску пессимизма, что между имманентным суб'ективизмом с одной стороны и пессимизмом с другой нет решительно никакой неразрывной *логической* связи, что связь эта была только историческая. И в настоящее время мы, принимая в общих чертах герценовскую философию истории, бесконечно далеки от пессимистического настроения; мировоззрение имманентного суб'ективизма является бодрым, активным, жизненным, суб'ективно осмысливающим жизнь человека и жизнь человечества.

В вашем мировоззрении, — говорил Герцену Галахов, — много смелости, силы, правды, но у вас никогда ни будет последователей... Мнение это было вполне естественно в устах об'ективного телеолога, впервые столкнувшегося с насмешливым отрицанием всякой об'ективной телеологии: слишком неожиданно было это отрицание, оно выбивало из проторенной мыслью колеи, оно казалось еретическим и ни под каким видом не приемлемым. Но мы знаем теперь, что Галахов ошибся. Правда, у Герцена никогда не было «учеников», которые бы слепо шли по пятам учителя; но у него были последователи, которые пошли по указанному им направлению не только в области социально-политических идей, но и в области социально-философских вопросов. Некоторые из этих последователей извратили имманентный суб'ективизм Герцена, другие сильно видоизменили основные пункты герценовской философии истории, третьи независимо от Герцена с громадной силой развили родственные ему

мысли,—как бы то ни было, но зерно, посеянное Герценом, никогда ни умирало в истории русской общественной мысли. И—это можно с уверенностью сказать—оно никогда не умрет. Оно никогда не умрет, ибо представляет собою вполне обособленное, не совпадающее ни с мистической, ни с позитивной теориями прогресса решение вопроса о смысле жизни человека и человечества. Оно никогда не умрет, потому что имманентный суб'ективизм является особым *типом* мировоззрения и его будут держаться те, которых одинаково не удовлетворяет и позитивное осмысливание жизни раем земным и мистическое осмысливание жизни раем небесным.

Такие люди всегда были; они всегда будут. В этом отношении Герцен далеко не одинок и даже далеко не первый на указанном пути: стоит назвать Штирнера и Л. Фейербаха, если ограничиться только современными Герцену мыслителями. И нет сомнения, что знаменитая книга Фейербаха «Das Wesen des Christentums» (которая была для Герцена, по его же признанию, толчком к разрыву и с мистическими теориями, и с гегелианской философией), нет сомнения, говорим мы, что книга эта помогла Герцену выяснить сущность своего мировоззрения. «Моя задача, — говорил Фейербах, — открыто и честно, ясно и определенно вскрыть и высказать тайну религии: жизнь есть Бог, наслаждение жизнью есть божественное наслаждение, истинная полнота жизни есть истинная религия... Каждый данный момент осуществляет в себе всю полноту и цельность бытия, цель которого—в нем самом, в беспредельном самоутверждении человеческой реальности; каждый миг мы пьем до дна чашу бессмертия, опять и немедленно наполняющуюся до краев, как волшебный кубок Оберона». Эти слова Герцен мог бы поставить эпиграфом ко всему своему мировоззрению. Религию *Бога* Герцен отверг, религию *Человечества* Герцен не захотел принять—и стал проповедником религии *человека*, религии жизни. Иного

пути, кроме этих трех — нет. И с тех пор как существует философия—а это значит: с тех пор как существует человек—по этим трем путям с бесчисленными разветвлениями упорно идет человеческая мысль. Путь выбранный Герценем—не моложе других: ведь за много веков до нашего времени Эпикур предвосхитил приведенные нами выше слова Фейербаха...

Из этого, конечно, не следует, что мировоззрение Герцена было «эпикуреизмом». Нет, оно было само по себе—и для нас важно то, что оно было в истории русской мысли первым и гениальным самостоятельным опытом анти-мистического и анти-позитивного философского построения. Говорю: *самостоятельным* опытом, потому что каково бы ни было влияние Фейербаха, не надо все же забывать тех слов, которыми Герцен начинает «С того берега»: «...я старался уразуметь жизнь..., мне хотелось что-нибудь узнать, мне хотелось заглянуть подальше; все слышанное, читанное не удовлетворяло, не об'ясняло, а, напротив, приводило к противоречиям или к нелепостям».

Он это и сделал, мы видели—как. Этим знакомством с гениальными историческими и философскими воззрениями Герцена мы и закончим предпринятое на предыдущих страницах «генетическое оправдание имманентного суб'ективизма». Читатель видит теперь, что не случайной бутадой мысли, не «пленной мысли раздражением» является это воззрение: оно тесно связано со всем прошлым русской общественной мысли. Мы дорожим этой нашей связью с прошлым, так как в ней лежит залог широкого будущего дорогих для нас убеждений; широкое будущее предстоит тем идеям, которые при первом же своем зарождении в истории русской мысли достигли такой силы, такой яркости и с тех пор не умирают среди русской интеллигенции; будущее еще перед ними.

V

Мы пришли к концу намеченного Герценом пути. Это не значит, конечно, что мы считаем до конца решенными поставленные вопросы: окончательное, общеобязательное решение этих вопросов совершенно невозможно, не будет дано никогда и никем. Всегда будут люди верующие и неверующие, романтики и реалисты, мистики и позитивисты; различие в психологических типах делает раз навсегда невозможным общее решение вопроса о смысле жизни. Мы наметили только одно из возможных решений этой проблемы, обязательное только для людей одинакового психологического типа—для тех людей, которые не желают обольщать себя никакими трансцендентными утешениями, которые не верят во всемирную гармонию, в конечную цель исторического и мирового процесса, которые вершиной мира признают чувствующую и страдающую человеческую личность. Для этих людей воззрение имманентного суб'ективизма являлось и является психологически необходимым, представляя собою в то же время только одно из возможных решений, ни для кого не общеобязательное логически или этически; то же самое относится и к другим решениям поставленных вопросов—к позитивной или мистической теориям прогресса.

Но мы не только не претендовали дать окончательное решение поставленной проблемы, но даже не считаем выраженным до конца и воззрение имманентного суб'ективизма. Читатель имеет перед собой только вполне определенную точку зрения, но вовсе не решение бесконечного ряда частных вопросов. Повторю еще раз свое сравнение: нет никакой твердыни имманентного суб'ективизма, в которую бы мы вводили читателя, провозглашая—„вот истина"! Мы намечаем только направление пути, который мы все должны прокладывать сквозь

чащи и дебри; „мы все"—т.-е. люди одного психологического типа. Разветвления пути могут быть различны, но направление их будет одно, и это единство-направления придает цельность и определенность всему мировоззрению.

В заключение—несколько слов к возможным противникам. Эти возможные противники—не сторонники мистической или позитивной теории прогресса, с которыми мы расходимся не только в возможности, но и в действительности; нет, я говорю теперь не о них, а о тех, которые еще не пришли ни к какой догме, которые еще ищут ответов на карамазовские вопросы и которые хотят во что бы то ни стало найти на эти вопросы общеобязательный ответ, а значит, найти и объ'ективный смысл жизни. Всем им мне хотелось бы сказать следующее:

Ваши поиски тщетны — поймите это раз навсегда: вас обманывает мираж, иллюзия. Вы умираете от жажды смысла жизни в пустыне мирового бытия, и вашему напряженному взору представляются обманчивые миражи— оазисы в пустыне, зеленеющие деревья, озера и реки живой воды. Все это иллюзии веры—и если вы поверите в эти кажущиеся отражения, то вечно будете стремиться утолитъ свою жажду в недосягаемых, ибо несуществующих, источниках. Поймите это раз навсегда— и вы увидите, как иллюзии и миражи рассеются и растают подобно утренним туманам.

Вы боитесь этого, боитесь, что без этих миражей вы останетесь в палящей безводной пустыне, вам страшно стать лицом к лицу с действительностью, вы пугаетесь „свирепейшей имманенции"... Если вы настолько слабы духом, что самообман вам дороже правды, то продолжайте утешать себя иллюзиями; если же вы хотите правды, а не душевного спокойствия, то прежде всего перестаньте пугаться «свирепейшей имманенции», перестаньте искать источников воды за пределами чело-

веческаго горизонта. Оглянитесь—и вы увидите, что вы ловили собственную тень; вы увидите, что тут же около вас бьет ключ живой воды, мимо которого вы проходили с пренебрежением. Вы увидите тогда вокруг себя не палящую безводную пустыню, а цветущую, зеленеющую, кипящую ключем жизнь; вы поймете тогда, что и сама эта пустыня мирового бытия—только мираж, только иллюзия вашего раздраженного зрения.

И тогда вас уже не испугает «свирепейшая имманенция» того взгляда, который отрицает об'ективную осмысленность жизни; вы не будете тогда вечно бежать за будущим, цепляясь за фалды Божества или Человечества. Не на будущее, а на настоящее вы тогда обратите свое внимание; вы поймете, что единственный смысл нашей жизни — в полноте ее переживаний, в широте, глубине и интенсивности бытия. И поняв это, вы откроете свою душу всему человеческому. Вы будете жадно впивать в себя красоту человеческого творчества и будете творить, если не поэмы, то самую жизнь, будете, по слову Эпикура, ποιήματα ἐνεργεῖν, οὐκ ἄν ποιῆσαι, не писать поэмы, а переживать их. Вы будете ценить завоевания человеческой мысли, бесконечно углубляющие жизнь человечества и ведущие к несомнемной победе человека над миром, над лишениями, болезнями, над социальным злом; вы почувствуете себя тесно связанными своими непосредственными переживаниями со всеми людьми и будете вместе с ними бороться за свои суб'ективные цели и идеалы, за воплощение в мире правды-справедливости, правды-истины, правды-красоты. И эта полнота бытия будет единственным смыслом вашей жизни, другого не ищите; чем полнее, ярче, шире будет ваша жизнь, тем она будет осмысленнее.

И тогда, умирая, вы не потребуете еще новых заоблачных переживаний для осмысливания своей минувшей земной жизни: ваша земная жизнь должна была сама оправдать себя. „Мы страдали, мы хотели, мы лю-

били. Мы свершили весь наш путь. Не ждем ни радости, ни печали»... И если, умирая, мы услышим злорадный и насмешливый шепот Старух, напоминающих нам об об'ективной бессмысленности всей нашей минувшей жизни, то каждый из нас скажет себе: „моя жизнь имела ясный суб'ективный смысл. Я жил широкой, я жил полной жизнью. Я любил и ненавидел, я хотел, я страдал, я боролся, побеждал и погибал; в полноте этих переживаний — весь смысл человеческой жизни. Другого смысла мне не надо, если бы даже он и был. И если жизнь моя действительно была широкой, яркой и полной, то пусть моя могила служит символом оправдания человеческой жизни“...

Только жизнью может быть оправдана смерть. Пусть же жизнь каждого из нас будет таким оправданием, пусть будет наша жизнь яркой, красочной, широкой — и тогда вопрос о смысле жизни будет решен нами в самой жизни, в вечно текучей действительности. Для этого надо каждую минуту, каждый миг отвечать на призыв жизни, на тот ее призыв, который Герцен выразил словами: vivere memento!

1908 г.

СОДЕРЖАНИЕ.

СТРАН.

9. **Иванов-Разумник**. А. И. Герцен, к 50-летию со дня смерти (1870—1920).
10. **П. Л. Лавров**. Очерки по истории Интернационала, с предисловием и примечаниями **П. Витязева**.
11. **В. М. Бехтерев**. Коллективная рефлексология.
12. **П. Л. Лавров**. Из истории социальных учений.
13. **Мейер, К. Ф.** Народный вождь Георг Енач, перевод **А. Даманской** со вступительной статьей **А. Г. Горнфельда**—„К. Ф. Мейер и его Георг Енач“. Книга вышла в двух изданиях.
14. **П. Л. Лавров**. Парижская коммуна (18 марта 1871 г.). Книга вышла двумя изданиями.
15. **Виктор Гюго**. Девяносто третий год, перевод **О. И.** и **М. В. Лучицких** со вступительной статьей **А. Г. Горнфельда**—„Основная мысль девяносто третьяго года Виктора Гюго“.
16. **П. Л. Лавров**. Собрание сочинений под редакцией **П. Витязева** и **А. А. Гизетти**. Всего вышло 11 выпусков.
17. **Ч. Диккенс**. Повесть о двух городах, перевод **Е. Г. Бекетовой** со вступительной статьей **А. Г. Горнфельда**—„Повесть о невинных жертвах“.
18. **„Вперед!“** Сборник статей, посвященных памяти **П. Л. Лаврова** под редакцией **П. Витязева**.
19. **Л. Э. Шишко**. Рассказы из русской истории, 3 части.
20. **„Коробейник“**. Народное издание. Вышло в свет 12 номеров.
21. Материалы для биографии П. Л. Лаврова, под редакцией **П. Витязева**.

Подготовляются к печати:

1. **П. Н. Столпянский.** Революционный Петербург.
2. **„Памяти П. Л. Лаврова“.** Сборник статей под редакцией **П. Витязева.**
3. **М. Б. Ратнер.** Национальный вопрос, сборник статей (1906—1910 г.г.).
4. **П. Витязев.** Материалы для библиографии П. Л. Лаврова.
5. **Жюль Валлес.** „Инсургент 1871 г.“, перевод **Я. А. Глотова** со вступительной статьей **А. Г. Горнфельда** — „Роман отщепенца“.
6. **Г. Г. Шпет.** История русской философии.
7. **П. Л. Лавров.** Социальная революция и задачи нравственности.
8. **„Искусство и Народ“.** Коллективный сборник статей под редакцией **Конст. Эрберга.**
9. **История русской философии.** Большой коллективный труд в 15 томах под общей редакцией **проф. Г. Г. Шпета.**
10. **П. Л. Лавров.** Собрание сочинений под редакцией **П. Витязева и А. А. Гизетти.**